

Себастьян ЖАПРИЗО

впервые
на русском



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

ЛИКИ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

БЕГ ЗАЙЦА ЧЕРЕЗ ПОЛЯ

Предлагается повесть одного из самых значительных писателей Франции XX века, автора детективных и любовных романов, которыми зачитываются поколения, Себастьяна Жапризо «Лики любви и ненависти». Эта небольшая повесть рассказывает о любви к матери и любви к женщине, —каждая из которых балансирует на пороге ненависти.

- [ЛИКИ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ](#)

-

ЛИКИ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

*Этот рассказ дружески посвящается жителям Халла Квебек
(Канада)*

По вечерам, когда он возвращался с прогулки по порту, мать молча ждала его, неподвижно стоя на каменной лестнице, и до конца ужина не произносила ни слова.

Впрочем, говорить и не требовалось. Она это знала. Когда ночью он засыпал в кресле, зажав в руке так и не раскуренную трубку, она пожирала взглядом его лицо, погруженное в сон. И тогда находила в его чертах что-то прежнее, детское.

— Ой, смотри, смотри!

Так он кричал когда-то от восторга и удивления, прыгая среди скал Корнуай...

— Ой, это острова, острова, — говорил он тогда. — Это Коломбо, это Сингапур! Мама, это Сингапур!

Теперь она не осмеливалась смотреть ему прямо в лицо, боясь прочесть в его глазах отчаянный упрек. Но и он ничего не говорил. Он уже давно перестал верить.

— Ты поедешь, дорогой мой, мы поедем вместе, — пообещала она ему когда-то.

Но с тех пор годы утекли в удручающем ритме его кашля, в едком запахе лекарств и в темных кабинетах врачей — теперь никогда уже не придется сесть на корабль и отправиться туда.

— Ты поедешь, мой дорогой...

— В Коломбо и Сингапур?

— Куда захочешь.

— Туда, где растут кораллы?

— Куда захочешь, дорогой мой. Но только когда тебе станет лучше.

Ему так и не стало лучше.

Этот диалог повторялся столько раз, что ей казалось, будто она читает его, вписанный слово за словом, в каждую черточку его спящего лица. Когда глаза у него были закрыты, он, наверное, смотрел на острова, на горизонт, на рифы, которые существовали только у него в душе. Вероятно, он смаковал в этом, известном только ему, мире невысказанную череду таких далеких городов и стран. Он мог на несколько часов отправиться в это долгое молчаливое странствие, которое так и не сумел совершить в действительности.

Совсем один.

Она смирилась с этим одиночеством. Он больше не пойдет, втайне от матери, искать то, чего никто кроме нее не способен ему дать. Он даже перестал читать. И, возможно, уже забыл это приворотное зелье — страницы «отвратительного» Конрада, самого страшного из ее врагов. Она охраняла его, а он и не стремился убежать. Иногда приступы кашля буквально сгибали его пополам. Когда он снова поднимал глаза, в них проглядывала смерть. Он не убежит, но и выносить все это дольше тоже не сможет.

— Ой, смотри, смотри!

Ребенок превратился в состарившегося юношу, окруженного беспомощными докторами. После переезда в Монте—Карло, единственного предпринятого ими путешествия, былая живость понемногу возвращалась к нему. По вечерам перед ужином он выходил погулять. Когда он возвращался, она знала, что он увидел, что почувствовал, что потрогал руками,

словно шла за ним по пятам. Сам он ничего ей не рассказывал. Но лицо его еще хранило привкус моря, ослепительную белизну парусников в порту, печать обретенной надежды и невыносимого страдания. Когда он после ужина садился в свое кресло, он знал, что мать рядом, и иногда делал вид, что спит, чтобы наблюдать за ней из-под полуприкрытых ресниц. Его лицо приобретало тогда отталкивающее выражение: проступали стыд и удовлетворение. Но она не догадывалась, насколько хорошо он умеет лгать и притворяться. Он легко мог притвориться, что спит. Он считала, что владеет им, она присвоила себе его смерть и носила ее на лице, как маску. Она внушала себе, что он вырвется от нее лишь для последнего путешествия, а до тех пор будет оставаться таким, какой есть, закрытым внутри и снаружи, с каждым днем все больше отдаляясь от нее, но по-прежнему, в своей долгой агонии, принадлежащим только ей.

— Поль, оденься потеплее, когда пойдешь.

— Я одет.

— Ты выглядишь не очень.

Он натягивал свитер, укутывал горло шарфом. Он должен был подчиняться ей, заставить ее поверить в свою полную от нее зависимость. А потом настанет день. Он еще молод, и ничто не потеряно. Он знал выход, и если она о нем не подумала, то только потому, что была слишком уверена в себе, слишком уверена в нем.

И случай представился. Он выходил редко и мало кого знал. Но он еще заведет друзей, по крайней мере среди тех, кто навещается на виллу. Достаточно только ждать, ждать, как он уже ждал.

На исходе дня он садился на парапет над портом и смотрел, как затухают тени вокруг белых парусов на рейде. Иногда какая-нибудь яхта уходила в открытое море, и он долго провожал ее взглядом. Куда она направлялась? Кто находился на борту? Неожиданно он терял из виду темную точку на воде. Он чувствовал себя так, словно бы он был на палубе, и его сбросило с корабля.

Он долго оставался там, не в состоянии расстаться со старой надеждой, которую уже почти потерял — слишком много парусников исчезло в дали. Коломбо, Сингапур и острова, он возвращался домой по тихим улочкам, все более мрачный, все более опустошенный. Поднявшись в город, он уже не смел обернуться.

Он мог бы еще увидеть порт и маяк, и море, это точно. Но не смог бы по-настоящему разглядеть корабли. Корабли уже отплыли, один за другим. Все до единого.

Поль впервые встретил эту молодую женщину, когда стоял сентябрь, они жили в Монте-Карло второй год. Она пришла в солнечный полдень. Поль сидел у окна своей комнаты, когда она позвонила в дверь. Высокая и, скорее, неловкая. Шляпка из зеленого бархата с поблекшими перьями сползла ей на лоб, а она даже не позаботилась сдвинуть ее обратно.

Ей открыли, и она вошла. Поль услышал голос матери в вестибюле, потом все стихло. Он спустился в гостиную.

У леди Фолли был приемный день. Его представили пожилому господину с бородкой, потом молодой женщине, шляпка которой сползла еще ниже, когда она наклонила голову. Она держалась прямо и натянуто, сидя на краешке дивана, сжав колени и поставив ступни параллельно на ковре. Он запомнил только ее имя — Симона. На секунду задержал ее руку в своей. Рука была влажной и горячей. Потом он сел рядом с одной из приятельниц матери.

Во время этого визита девушка почти ничего не сказала. Пожилой господин с бородкой не дал ей вставить ни слова. Только раз Поль смог отчетливо услышать ее голос. Низкий,

слегка глуховатый, похожий на его собственный, но звучал он легко, даже изящно. Он сумел не торопясь разглядеть ее лицо. Она учтиво слушала старого господина, держа в руках пустую чашку, которую не знала куда поставить, и время от времени качала головой, прикрыв глаза. Постепенно Поль привык к ее слишком широкому лбу, слишком короткому, лишенному изящества носу, слишком широкому рту. В профиль она даже выглядела довольно свежей. Когда она стала собираться, он проводил ее до ворот.

— Надеюсь, мы увидимся, — сказал он по-французски.

Она была почти такого же роста, как и он. Глаза у нее были не то голубые, не то серые.

— Я тоже надеюсь. Я очень рада, что познакомилась с вашей матушкой.

Она не уходила, ждала, пока он с ней попрощается, но он не торопился.

— Старый господин нагнал на вас скуку, — сказал он.

— Вовсе нет. Он мне рассказывал о поездке в Китай. Вы были в Китае?

— Нет, — ответил Поль, — но хотел бы туда поехать. Я бы хотел побывать везде.

Она колебалась перед тем, как надеть перчатки.

— Может быть, до скорого, — сказала она, подняв глаза.

— Вы живете в Монте—Карло?

— Да.

— Тогда наверняка увидимся.

Он посмотрел в сторону дома, инстинктивно запустил пальцы в свою шевелюру. Это отвратительное вечное подростковое чувство вины.

— Вы здесь давно? — спросил он.

— Я здесь родилась.

Она улыбнулась и протянула ему руку. Было жарко, солнце обвело в саду четкие тени. У девушки расплылись румяна. Он уже не осмеливался смотреть ей в лицо из боязни, что она поймет, насколько уродлива. Он взял ее руку и пожал.

— До скорого, — повторил он.

Он смотрел, как она уходит по пустой улице. Она держалась очень прямо, красное перо на шляпке было устремлено к небу, она вдруг обернулась, чтобы улыбнуться ему.

— Меня зовут Поль, — сказал он.

Но она не расслышала.

После ухода гостей он остался в гостиной. На низких столиках стояли чашки, все было усеяно крошками печенья. Пока слуга Этьен убирал, Поль подошел к леди Фолли, положил руку ей на затылок.

— Что такое? — спросила она удивленно.

— Ничего, — сказал Поль. — Ты устала?

Она оперлась ладонями на подлокотники его кресла.

— Мигрень, — сказала она. — Мадам Журдан трещала с набитым ртом.

— Кто такая мадам Журдан?

— Дама, которая съела все птифуры.

— Я не заметил, — сказал Поль.

Он наклонился и поцеловал ее в щеку.

— Какой ты милый, — сказала леди Фолли, — это так редко теперь бывает.

— Знаешь, я уже не ребенок.

— Ну, ну, тебе еще нет тридцати. До тридцати мы все еще дети, дорогой мой.

И она обняла его за талию.

— А ты всегда останешься для меня ребенком, — сказала она.

Они постояли так мгновение, потом он отстранился.

— А кто этот старик? — спросил он.

— Друг твоего бедного отца.

— Он хорошо его знал?

— Мне кажется, да.

— Ну и зануда! — сказал Поль. — Он все время приставал к этой бедной девушке.

— А что, ты сам хотел бы к ней приставать?

— Мама! — сказал он. — Ты ее видела? Страшнее не бывает.

И он изобразил на лбу указательным пальцем нечто расплывчатое, наподобие оперенья. Мать рассмеялась вместе с ним, хотя и как-то неестественно. Но теперь он знал, что она успокоилась.

— Ее ведь зовут Симона?

— Симона Перине. Она тоже знала твоего отца. Но была тогда, видимо, совсем маленькой.

— И носила скобки, чтобы выправить зубы, — сказал Поль.

Солнце светило матери прямо в лицо, и он пошел задернуть шторы.

— Так лучше? — спросил он.

— Да, намного.

Она прикрыла глаза с легким вздохом облегчения. Когда о ней заботились, она сразу принимала блаженный вид. Он взял с камина трубку и поднялся к себе. На лестнице столкнулся с Этьеном.

— Вы не видели, где табак? — спросил он тихо.

— Вы же знаете, что вам нельзя курить, — сказал Этьен, покачав головой.

У него была широкая грудь бывшего боксера и лысая голова. Когда он качал ею, казалось, что его уши торчат еще сильнее, а на висках выступали жилы.

— Ладно вам, — сказал Поль, — я сто лет не курил.

— Будьте разумны, — сказал Этьен, — мадам выставит меня за дверь, с нее станется...

— Отдайте, прошу вас.

Этьен достал из кармана серый бумажный пакетик, перетянутый резинкой. И протянул Полю.

— Не курите весь сразу, — сказал он, взглянув в направлении гостиной, — а главное — никому ни слова.

— Вы просто волшебник, — сказал Поль. — До чего вы славный.

— А вот мсье совсем не славный. А если вы заболете?

Поль не ответил и поднялся на несколько ступенек. Потом обернулся и увидел, что Этьен стоит на том же месте, прислонившись грузным телом к перилам.

— Я уже и так болен, — сказал Поль. И рассмеялся.

— Я уже умер, — сказал он.

Этьен снова покачал головой и начал спускаться. Поль зашел к себе в комнату, закрыл дверь и стоял не шевелясь.

Он наверняка уже умер. Это произошло и раз и навсегда было признано остальными. И, несомненно, она этого хотела. Но он задержится еще на час, на секунду, на одно мгновение, на целую жизнь. А потом она сможет говорить о нем так, как говорит о его «бедном отце»,

добавляя: «мне кажется». Никогда ни в чем неуверенна, но при этом абсолютно уверена во всем, в этом ее сила. Именно так она и приговорила его, когда он кашлял и сжимал в зубах мундштук нераскуренной трубки, так что почти перегрызал его.

Он растянулся на кровати и открыл пакетик табака. Потом она выгонит Этьена. Обвинит его, как водится. Но пока не скажет ни слова, выдержит до конца свою непримиримую неуверенность.

— Я думаю, что мы можем переехать во Францию, Польшу. Например, в Монте—Карло. Перемена будет тебе на пользу, и воздух там хороший.

— Морской воздух? Ты прекрасно знаешь, что морской воздух мне не годится. Все врачи это говорили.

— А что они понимают? Я думаю, тебе это поможет. К тому же, в горах тебе надоест.

Она подстегивала его недуг. Позднее она скажет: «Он так любил море». И закроется в жуткой тишине собственного бытия, продолжая ворошить тот же пепел, испытывая радость от того, что сумела сохранить все, вплоть до последнего воспоминания.

Он курил и думал о девушке, потом тихо рассмеялся. Господи, до чего она безвкусно одета! Но это было ему на пользу. Мать ни о чем раньше времени не догадается. Новость заденет ее мелкими осколками, как разорвавшаяся бомба. Он продолжал смеяться в душе, грустный и одинокий, не мог успокоиться, лежа на кровати в своей комнате летним вечером, прислушиваясь к собственному дыханию, положив руку на грудь возле сердца.

Позднее, всласть накурившись, он открыл настежь окно, дал сумеркам поглотить себя и уже не захотел никуда выходить. Не захотел пойти посмотреть на порт.

Он снова увидел девушку вечером на следующей неделе, когда возвращался с прогулки.

Надвигалась ночь. Он остановился перед витриной бюро путешествий, и Симона, проходя мимо, отразилась в стекле. Он должен был несколько секунд смотреть на нее, чтобы удостовериться, что это она. Но она была в том же костюме вяло—серого цвета, что и неделю назад, и он узнал бы из тысячи ее нелепую шляпку. Он догнал ее через несколько шагов.

Она не выглядела удивленной.

— Как поживаете? — спросила она.

— Шел домой. Не думал встретить вас здесь.

— Я работаю рядом.

— Отлично, — сказал Польшу.

Они медленно двинулись в одном направлении. Было темно и свежо. После долгой паузы она повернулась к нему:

— Вы видели снова своих друзей? — спросила она.

— Нет, никого из них. Впрочем, у меня нет друга. Мать принимает только раз в месяц и только знакомых моего отца.

На углу улицы им пришлось остановиться из-за потока машин.

— Вы идете туда? — спросила Симона.

— Я провожу вас, — сказал он. — Мне полезно немного пройтись.

— Благодарю вас, — сказала она.

Потом продолжила с неуверенной улыбкой:

— Вы очень хорошо говорите по—французски. Где вы его выучили?

— Я не учил. Моя мать французка.

Она покачала головой, явно думая, о чем бы еще спросить.

— Вы возвращаетесь из порта?

Он взял ее за локоть, чтобы перейти улицу. Она не высвободилась, когда они оказались на тротуаре.

— Я хожу в порт почти каждый вечер, — сказал он. — Люблю смотреть на море и корабли.

Через несколько шагов он добавил:

— Наверное, только это я и люблю.

Пожал плечами, словно подшучивая над собой, но с радостью увидел, что она не улыбнулась.

На улице, куда они вышли, прохожих было больше. В темноте светились витрины. Они шли молча, не глядя друг на друга. В этом не было ничего нелепого или пустого. Наоборот. Если она молчала, то только потому, что хотела показать, что придает важность последним его словам.

Она остановилась перед домом постройки начала века с круглыми балконами. Объяснила, что у нее двухкомнатная квартира на третьем этаже.

— Мы наверняка еще встретимся, как сегодня, — сказал он. — Если вы всегда ходите одной дорогой, мы точно увидимся.

Она нажала на кнопку входной двери.

— Тогда до скорого, — сказала она.

Она протянула ему руку, но совсем не так, как это было на прошлой неделе.

— Меня зовут Поль, — сказал он.

— Я знаю.

Она толкнула дверь и улыбнулась ему, шляпка сползла на лоб.

— До свиданья, — сказал он.

Она наклонила голову, перо заколебалось, и он зашагал прочь.

— Поль, — позвала она.

— Да?

Он неподвижно стоял посреди тротуара, и какой-то прохожий прошел между ними. Когда он был далеко, лицо Симоны стало таким, каким оно было у них дома, когда она сидела с матерью в гостиной.

— А у меня даже кораблей любимых нет, — сказала она.

И вошла в дом.

После этого они стали встречаться каждый вечер. Он ждал ее в один и тот же час перед той же витриной, где она появилась, и провожал домой. Она работала в бюро по обмену валюты. Но она мало говорила о себе, и они молча шли по длинным белым сентябрьским тротуарам, иногда выбирая дорогу, которая продлевала их встречу.

На виллу он возвращался почти ночью. Леди Фолли неподвижно стояла наверху каменной лестницы, не находя больше в лице сына успокоительной для себя меланхолии. Что-то в нем изменилось, и она сообщила ему об этом.

— Я не изменился, — сказал Поль. — Стало свежее, осень вот-вот наступит. Меня угнетала жара.

В следующие дни он возвращался раньше.

Она успокоилась. Он даже разговаривал с ней перед тем, как лечь спать.

— Ты каждый день ходишь в порт, мой дорогой?

— Каждый день, — подтвердил он. — На этой неделе там появились новые яхты. Они, наверное, уйдут, одному богу известно куда, после первых же дождей.

— Как-нибудь вечером я пойду с тобой. Но может быть, ты предпочитаешь быть один?

— Да нет, — говорил он. — Я буду очень рад, если ты пойдешь со мной.

Она так и не пошла. Порт ее вовсе не интересовал, она знала, что вдвоем им бывает очень плохо, к каждому из них возвращались те же грустные воспоминания, все так и не сбывшиеся обещания...

— Ой, смотри, смотри!

Коломбо, Сингапур и острова... Он был тогда таким маленьким рядом с огромными скалами, огромным морем!

— Ты поедешь, дорогой мой, ты поедешь!

— Ну конечно, — повторял другой голос, — конечно...

Это был ветер.

В октябре в Монте—Карло шел дождь, и город выглядел таким же темным, как и море. Несколько дней Поль не мог выйти из дома и не видел девушку. В субботу он отправился к ней домой. Он долго не решался нажать на кнопку звонка, но когда она открыла ему, то не выглядела удивленной.

— Вот и вы наконец! Я ждала вас всю неделю. Уже стала думать, что вы никогда не придете.

Она усадила его в просторной, но скучной, обставленной как попало комнате, в которой царил бездушный беспорядок. Она стояла, пока он осматривался вокруг.

— У вас хорошо, — сказал он.

Она не сразу ответила, и от последовавшего молчания он почувствовал себя неловко. Не глядя на нее, он ощутил ее раздражение.

— Не лгите, — сказала она.

— Я не лгу. Мне правда нравится.

— Так всегда говорят в подобных случаях. Но можете не стараться.

Она пошла в угол комнаты и порылась в сундуке. Там тоже царил жуткий беспорядок. Она извлекла два бокала и бутылку. Потом подошла к нему.

— Что вы делали? — спросил он.

— В эти дни?

— Да.

Она наполнила бокал наполовину, протянула ему.

— Я работала.

Он не смотрел на нее. Он не хотел жалеть о том, что пришел, но она никак не шла ему навстречу.

— Мне нравится быть с вами, — сказал он.

— Не лгите.

— Почему же тогда я здесь?

— Вот именно, почему?

Он попытался улыбнуться, не отрывая взгляда от штор на окне. Почему она все время обороняется? Откуда это недоверие и подозрительность? Все могло бы быть так просто.

— Вам не нравится со мной? — сказал он.

Теперь она избегала его взгляда, опустила глаза, по лицу растекся румянец. «Она будет разыгрывать передо мной робкую, то и дело краснеющую машинистку», — подумал он. Но он знал, что она не играет. Она стояла перед ним, словно загипнотизированная бутылкой,

которую держала в руках и машинально покачивала.

— Вы прекрасно знаете сами, — сказала она.

И внезапно ее голос перестал быть сухим, наполнился грустью и нежным спокойствием.

— Мне тоже нравится быть с вами, — повторил он.

У нее снова появилась эта улыбка, будто она надсмехалась сама над собой, и тотчас же исчезла. Он хотел взять ее за руку, но она ее убрала. Когда она посмотрела на него, он не сумел прочесть в ее взгляде ни враждебности, ни удивления, ни горечи. Но был уверен, что, скажи он еще слово, она зарыдает. Он наклонился вперед:

— Ну, что с вами? — сказал он.

Она снова попятилась, пожала плечами. Черты ее лица заострились, слезы подступали, и он был счастлив, что увидел ее такой — нелепо застывшей посреди комнаты с проклятой бутылкой в руках. Она должна заплакать, черт возьми, нужно, чтобы она расплакалась.

— Сами знаете, — сказала она.

Она покачала головой с какой-то яростью.

— До чего же я хороша собой!

Она снова пожала плечами, потом внезапно рухнула в кресло, вжавшись в подушки своим крупным телом, уткнувшись лицом в спинку, и стала безудержно плакать, закрывая голову руками.

Поль не шелохнулся.

В нем бурлила незнакомая ему радость, и на секунду пред ним предстало лицо матери — алчущее и удовлетворенное. Наверное, теперь такое лицо было у него, то самое выражение, с каким она, как охотник, следила за ним, спящим, по вечерам.

Она перестала плакать. Вероятно, чувствовала неловкость от наступившей тишины, но, казалось, не торопилась прерывать ее. Она по-прежнему сидела, уткнувшись в спинку кресла, и казалось, никогда так и не осмелится повернуться к нему.

— Простите меня, — сказала она наконец.

Два чуть слышных слова жалобным голосом. Затем, не взглянув на него, она встала и вышла из комнаты. Он допил свой бокал, не отрывая глаз от опустевшего кресла. Сделал усилие, чтобы подавить кашель. В соседней комнате из крана текла вода. Она наверняка вернется, улыбаясь, и все будет навеки забыто. Ни он, ни она больше не заговорят об этой сцене.

Он поставил бокал, встал и подошел к окну. Небо над крышами потемнело. Дождь еще не шел, но собирался. Он мгновенье созерцал улицу. Когда услышал, что девушка вернулась, он с улыбкой обернулся.

Она тоже улыбалась.

Позже они отправились вдвоем в чайный салон над портом. Когда они вошли, в зале было пусто, их встретила девушка в розовой форме. Они сели за столик, друг против друга, возле окна. Море за окном было фиолетовым и сливалось с небом. Всю неделю шел дождь, и в порту было безлюдно.

— Все в порядке? — сказал Поль.

У нее покраснели глаза, и официантка с интересом ее разглядывала. Чужие слезы — занимательная тайна. Почему она, почему не я? Погода тоскливая, окружающий мир тоже.

— В порядке, — сказала Симона.

Она поставила локти на стол, подперла подбородок руками и посмотрела на него собачьим взглядом. Пирожных она не хотела, была не голодна. Когда он раскашлялся —

безнадежно нескончаемый приступ, — она отвернулась, сделала вид, что разглядывает порт через окно.

— Простите, — сказал он.

Но на этом игра в прятки закончилась, и он это знал. «Простите меня, простите меня», оружие брошено, вы вступаете в бесконечный круг, все сказано. Он попытался представить себе лицо матери, когда сообщит ей, что даже под страхом смерти она не разделит с ним могилу, что появилась другая. Одно мгновение, сказал он себе, одно мгновение — и вся жизнь. Уже несколько дней у него в голове вертелась эта фраза. Но, наверное, это звучит по-идиотски.

— Вы очень бледный.

— Не обращайтесь внимания, — сказал он, — морской воздух мне не на пользу.

— Почему же вы не уедете?

— Я тоже себя об этом спрашиваю. Наверное, из-за матери. А теперь я остаюсь из-за вас.

Застывшее лицо, до чего застывшее.

— Не говорите глупостей.

— Вы прекрасно знаете, что это правда, — сказал Поль.

Она пила чай. Когда поставила чашку на стол, то снова отвернулась к окну и вытерла рот крохотным белым платочком.

— Вы любите корабли и море, вы сами мне говорили.

— Это правда, — сказал Поль.

Но она, наверное, ждала другое.

— Я вас тоже люблю, — сказал он.

Она не смотрела на него, у нее дрожали губы. Официантка в розовом в глубине зала, вероятно, подглядывала за ними, но это теперь уже не имело значения.

— Я не понимаю, — сказала Симона, — почему вы надо мной смеетесь?

Он через стол взял ее руку и нежно сжал. На какое-то мгновение ему стало жалко ее и жалко себя. Лицо девушки отчетливо отражалось в стекле, приближалось к нему, нелепо взволнованное. Она не убрала руку, наклонилась вперед, волосы падали ей на глаза.

— Я люблю вас, — повторил он.

— Прошу вас.

— Я люблю вас.

Она поднялась, взяла сумку и молча встала возле стола, в своем отчаянии она выглядела гротескно. «Огромная бесцветная и безжизненная масса, — сказал он себе, — что-то омерзительное и одновременно недочеловеческое».

— Не уходите.

Она потрясла головой, стараясь не слушать его:

— Прошу вас.

Шепот, всего лишь шепот, но снова ему стало жалко ее, жалко себя, жалко их обоих вместе, одинаково одиноких. На улице уже несколько минут шел дождь, но они этого не замечали. Капли мелко и отрывисто барабанили по стеклу, и в помещении стало темнее.

— Сядьте, — сказал он. — Мне нужно с вами поговорить.

— Разве вы не видите, какая я? — сказала она. — Почему вы надо мной смеетесь?

Она взглянула на официантку и направилась к выходу.

— Вы не пойдете под дождь, — сказал Поль, поднимаясь. — Ведите себя разумно.

Но она уже вышла, и он увидел через окно, как она прошла, опустив голову. Он подозвал официантку, расплатился и тоже вышел. Она шла быстро, ему пришлось побежать — кашель, кашель, снова кашель, — чтобы догнать ее.

— Ну что с вами, в конце концов, — сказал он, схватив ее за руку. — Неужели мы так и будем гоняться друг за другом? На самом деле все так просто.

— Оставьте меня, — сказала она, — оставьте!

Но он не отпустил ее.

Дождь усиливался, и им пришлось укрыться в дверном проеме. Они долго молчали. Он обнимал ее за плечи. Потом она резко прижалась к нему.

— Вы дрожите, — сказал Поль. — Скажите что-нибудь.

Но он знал, что она ничего не скажет. Что-то в ней вдруг надломилось, и выразить это было невозможно. Мокрое лицо Симоны прижималось к его плечу, он не осмеливался двинуться, не осмеливался больше лгать, оба они смотрели на сверкающие струи дождя, которые ветер гнал к морю.

Две крохотные старушки в промокших пальто оторвали их друг от друга, чтобы открыть дверь, возле которой они прятались. Когда дверь закрылась, она снова прильнула к нему.

И только позже, гораздо позже она прошептала его имя и подняла голову, чтобы поцеловать его.

В тот же вечер Поль сказал матери, что хочет жениться. Полулежа на диване в гостиной в болезненном оцепенении, леди Фолли — впрочем, она была леди не больше, чем ее горничная: ее так называли только потому, что она была богатой, — слушала его, не в силах произнести ни слова.

Он ходил взад и вперед по комнате, прядь волос упала на лоб, руки были в карманах, он ликовал, подробно рассказывая о «своей идиллии».

Он внезапно стал казаться крупнее и сильнее, и когда она осмелилась прошептать: «господи», еле слышно на фоне его так странно звучащего голоса, что «он сошел с ума», он расхохотался незнакомым ей смехом, с жесткой решимостью в глазах.

— Я сошел с ума? — сказал он. — Глупости! Это раньше я был сумасшедшим.

Продолжая смеяться, он расхаживал по комнате, поднимая глаза к потолку.

Потом раздались крики, нескончаемые крики. Слуги, наверное, слышали их из своей комнаты.

— Эта неуклюжая уродина? — кричала леди Фолли, вскочив на ноги. — Но почему? Почему?

А он отвечал, стараясь перекрыть ее:

— Почему? Чтобы больше не видеть тебя, разве этого мало? Чтобы дышать! Чтобы жить!

Она дала ему пощечину. Впервые с тех пор, как он вырос.

Вошел Этьен с перепуганным видом, спросил, не нужно ли чего. Она знаком велела ему выйти, простым движением пальцев, так отгоняют муху.

Когда дверь закрылась, она минуту молча рассматривала его со слезами на глазах. С трудом восстановила дыхание. В конце концов он пожал плечами и уселся в кресло перед камином.

Она не двигалась. Не плакала. Он ощущал ее присутствие за спиной, но так, словно она уже умерла, страдая от собственного бессилия, не в силах прервать беспорядочный поток воспоминаний. Сперва он думал, что можно будет многое сказать, во многом впервые

признаться, но нескольких выкриков и одной пощечины оказалось достаточно, чтобы разорвать паутину хитросплетений и лжи.

Он услышал, как она идет к двери, но прежде, чем ее открыть, остановилась.

— Бедное мое дитя, — сказала она тусклым голосом, — ты болен, надежды нет. Что скажет твоя «невеста», когда узнает, в каком ты состоянии?

Он не удержался и обернулся. Он увидел, что она с трудом сдерживается, стараясь скрыть ироническую ухмылку. Злоба и жесткость читались в ее глазах:

— Ты же знаешь, что долго не протянешь.

Он пожал плечами.

— А ты сама? — спросил он веско.

Она открыла дверь, повернулась.

— Я поговорю с ней, — сказала она. — Ты так просто не уйдешь.

На фоне двери она выглядела бледной и ка—кой—то очень старой, ее трясло.

— Я поговорю с ней, — повторила она.

Но он не ответил. Она ничем не могла его теперь задеть, и он должен был показать ей это.

— Поль? — позвала она.

Он перестал слышать и видеть ее. Он смотрел на языки пламени в камине. Коломбо, Сингапур и острова, наверное, это означало вырваться: перестать видеть и слышать ее, оставить ее наедине с собственным эгоизмом и ненавистью. Она вышла, и он слышал, как она поднимается в свою комнату, цепляясь за перила. Она начинала понимать, что произошло, и до конца своих дней, как

самый страшный сон, будет прокручивать в голове эту сцену.

Позднее, согнувшись пополам, словно грудь его прокалывали лезвиями, он чувствовал себя почти счастливым, что не может подавить кашель. Приятное чувство — быть больным, но живым и знать, что это не имеет значения.

— А ты сама? — сказал он ей.

Как хорошо, что он ей это сказал.

Ночью над Монте—Карло дул ветер, вздымал волны на море и разгонял ненастье.

Растянувшись на кровати, весь потный, Поль пытался угадать, какие мысли старается подавить в себе мать. Из соседних комнат не доносилось ни звука, но он знал, что она тоже не может заснуть. Как и он, должно быть, она ворошила пепел воспоминаний. Завтра последует новая сцена, за ней еще одна. До самого его отъезда она не признает своего поражения. Они будут перекидываться отдельными словами, но в каждом слове будет скрыта смертельная злоба. И даже молчание будет наполнено ею. Она быстро прибегнет к своему излюбленному оружию — издевкам и презрению. Маски сброшены, и им придется день за днем, час за часом смотреть друг другу в лицо — в лица, наводящие ужас.

Он слушал, как ветер стучит в оконные ставни, и она, наверное, тоже слушала, надеясь, что с ним случится очередной приступ (она могла предсказать их приближение), и тогда он не сможет обойтись без ее помощи. Он позовет ее, как обычно, и она положит притворно нежную руку ему на лоб.

Какая для нее представится возможность добить его еще сильнее! Но, спрятав голову под подушку, он сдерживал дыхание: хранил в себе и свою боль, и свой страх.

И вот, когда он уже почти засыпал, он увидел, как поднимается заря. Ветер стих. Понемногу каждый предмет в комнате обретал свою форму, и это вселяло в него

уверенность. В другой день, сказал он себе, я увижу многое другое. По стеклам скользили красные отблески, и он угадывал, не слыша их, знакомые звуки просыпающегося утра.

«Госкливая заря», — подумал он.

Он не мог вспомнить книгу, в которой он это прочитал.

Сегодня вечером он опять увидит Симону, расскажет о своем состоянии, чтобы опередить мать. Славная девушка выслушает, ему казалось, он уже видит, как она всплескивает руками от радости, что сможет посвятить ему жизнь, ухаживая за ним. Она, ее преданный собачий взгляд и жуткая шляпка с перьями, его мать и его бегство.

Долгие годы он горбился, закрывал душу от любого зова. Да, наверное, и зова—то не было, одно безмолвие. Симона, Симона, слова любви, поэты и коралловые рифы. Он должен был держаться прямо перед своим гробом, не боясь захвата этого спрута, спящего в соседней комнате. Он должен был презирать ее и гордо наслаждаться ее страданиями. Смерть, паруса, небо, все это незыблемо, море, жизнь и коралловые рифы.

Господь, коралловые рифы и тишина.

Когда пришла пора ненастья, Поль решил придать официальный статус их свиданиям. Он много раз приглашал Симону на виллу. Эти встречи, которым присутствие матери придавало неподдельную остроту ощущений, очень возбуждали его. Долгими послеполуденными часами обе женщины состязались в любезности, избегая при этом упоминаний о предстоящей свадьбе. Леди Фолли выбрала тактику крайнего лицемерия: она восхваляла самые очевидные недостатки Симоны — ее грацию неуклюжей валькирии, платье цвета детской неожиданности, висевшее на ней мешком, дошла до того, что восторгалась ее юмором и меткими репликами. Симона немела от этого унижения.

По вечерам, когда мать и сын встречались лицом к лицу, битва шла под сурдинку, но каждое слово звучало упреком и влекло за собой еще два десятка других, столь же увесистых, столь же сбивающих с ног, подобно ударам. Без всякого на то основания она говорила о прошлом, вспоминала его отца и его самого, маленького, так, словно уже оплакивала двух ушедших. Но напрасно она считала очки, изощряясь в своем умении задеть его за живое, когда напоминала о «его болезни». Поль не жалел об этих сценах. Ведь она тоже выходила из них обескровленной.

Он вынужден был ту зиму, как и прежние, провести в постели, окруженный мрачной заботой, перемежающейся саркастическими высказываниями. Возможно, она тогда надеялась, что он умрет, что все скоро закончится. Когда он потребовал вызвать врача, она была безумно счастлива, что он признал поражение, раз осмелился заговорить об этом. Весь день ее внезапно обуревали приступы радости, она неотрывно наблюдала за ним блестящими глазами. На следующий день он узнал, почему.

Утром открылась входная дверь, и он услышал шаги по лестнице, кто—то поднимался вместе с матерью. Но в комнату вошел лишь незнакомый ему человек. Худой, одетый в черное, он так никогда и не понял, почему этот мальчик с красивым, мертвенно—бледным, измученным болью лицом смотрел на него с удивлением и ужасом, пока он подходил к его постели, а затем яростно отвернулся, безучастный ко всему.

Накануне он просил ее вызвать врача. Она пригласила священника.

С этого дня он держался только за Симону, избегал сцен. Он знал, что из них двоих он слабее, по крайней мере до свадьбы, и в присутствии матери он хранил безучастное молчание. Он слышал ее слова, понимал их смысл, понимал, почему она улыбается или пожимает плечами, понимал даже, почему она ничего не говорит. Но не пытался больше

подстегнуть ее злобу или пробудить в ней отчаяние. Скоро она останется одна, одна навеки, в полном отчаянии от того, что сумела сохранить лишь часть своих воспоминаний, а он тем временем будет накапливать новые, в которых ей не найдется места. Именно этого она и не сможет вынести, представить его вне досягаемости, рядом с другой, накапливающим ничего для нее не значащие воспоминания, которые он потом унесет с собой. Когда он был ребенком, она ненавидела даже его игрушки, она всегда находила оправдание своей неловкости или рассеянности, если ломала их. Она смотрела на мир его глазами, прикасалась к вещам так же, как он прикасался к ним. Однажды его отец ушел к другим женщинам, к другим воспоминаниям. А он остался с теми же воспоминаниями, почти с тем же лицом, и ей казалось, что она обрела потерянное, превратив его в пленника, изливая на него весь свой гнев, обращенный на другого, того, кто по утрам, оставшимся в далеком прошлом, бывал таким нежным и прекрасным, что она так и не смогла его забыть.

А теперь ей предстояло второй раз увидеть, как уходит от нее тот же человек, даривший ей знакомую благодарную улыбку на рассвете, после ночи любви. И она потеряет не только сына. Это будет тень того, другого, медленно ускользящая из ее рук, из ее женских объятий.

По мере приближения весны она все больше и больше нервничала. В какой-то момент — бьющая через край энергия, потом внезапный спад. Казалось, она чахнет и угасает с каждым днем, как умирающий, обретший новые силы в агонии. А слова! Она чеканила их, тратя последние силы, стараясь придать им блеск. И приходила в отчаяние, когда чувствовала, что все они, одно за другим, не достигают цели и исчезают, так и не найдя отклика.

За неделю до свадьбы она уехала из Монте—Кар—ло с горничной и кухаркой, вернулась в старый дом в Корнуай, где жила долгие годы и тишину которого теперь не могла выносить. Беспощадную тишину, в которой остались смех и шепоты ее детства.

Поль выставил виллу на продажу. Он встречался с врачами, которые пытались отговорить его жениться, а вместо этого отправиться в санаторий. Но он уже давно не обращал на них внимания. Он вовсе не нуждался в прощении о помиловании.

На церемонии присутствовали только родители Симоны. Все продолжалось недолго, как-то бесцветно, и когда закончилось, они уехали. Возвращаясь с женой на виллу, где Этьен собирал багаж, Поль решил пройти через порт и взглянуть на море. Небо над водой было светлым, таким светлым, что он не осмеливался поднять глаза.

Они занялись любовью в Отеле де Пари. Симона никогда этим еще не занималась, ни там, ни в другом месте, а Поль и десяти раз не мог насчитать: четыре с балериной из театра Сэдлерс—Уэллс, два или три — с рыжей официанткой в ресторане в Брайтоне. Симона клялась, что если он разлюбит ее, она покончит с собой.

Утром Этьен пригнал в сад черный «даймлер», нагруженный чемоданами. Он попрощался с ними и ушел свой пружинистой походкой боксера, он должен был отправиться в Англию к леди Фолли.

Сначала они планировали долгое свадебное путешествие на Восток, но в результате, не пытаясь даже найти другие отговорки, кроме жары, от него отказались.

По правде говоря, Симона только и мечтала оказаться в их собственном доме. Они отправились в Савойю. Машину вела она. Поль по фотографиям выбрал новое шале из дерева и камня, возвышающееся над безмолвной деревней. В него доставили мебель, шторы, растения для сада. Полю казалось, что он похоронил прошлое и начал новую жизнь.

У Симоны никогда не было прислуги, да она и не хотела. Она намеревалась сама вести хозяйство. Неутомимо сновала туда—сюда весь день, и он почти привык к нежности естественного, без вывертов существа, живущего рядом с ним. Иногда ночью она включала лампу, словно хотела убедиться, что все это правда, что он по—прежнему здесь. Это было так для него ново, что он уже почти готов был перестать играть комедию и по—настоящему полюбить ее.

Почти. Но ему быстро надоело. В конце весны, не отдавая себе отчета, без малейшей размолвки между ними, он вдруг стал жалеть, что уехал из Монте—Карло. Деревня Араш, раскинувшаяся ниже шале, в сумерках озарялась таким красным светом, что как—то вечером молодой человек внезапно увидел море и солнце, исчезающее в воде в пурпурных отблесках.

Он подумал, что именно этого ему и не хватает. В деревне он покупал атласы, карты и даже принес в шале старую картину, изображающую самый что ни на есть классический «Закат солнца на океане». В лавке скобяных товаров он раскопал коробку с масляными красками и попытался исправить пейзаж, внеся в него что—то новое. Но рисовать он не умел. Он бросил краски, картина вызывала у него отвращение.

Как—то утром, вернувшись из деревни с покупками, Симона застала своего мужа перед разожженным камином в гостиной. В пламени, потрескивая, горел холст, а он, словно больной, неподвижно простоял больше часа, опершись одной рукой о каминную полку, опершись лбом на другую руку, не двигаясь, он молча смотрел, как догорает огонь. Когда он подошел к ней, то долго обнимал, а она не осмелилась спросить, что же произошло.

Летом супруги на две недели вернулись на Лазурный берег. Один американский актер хотел отвезти их из Канн в Сен—Тропе на своем корабле, но как только они вышли в море, Полью стало нехорошо, и они причалили к берегу. Этого актера они больше не видели. Они купили одежду, пластинки, книги и маленький бриллиант в форме сердечка, Симона носила его как подвеску. На пляже отеля «Карлтон» Поль пил свежесжатый лимонный сок без сахара и смотрел, как она плавает в море. Когда она выходила из воды и возвращалась к нему — мокрая, с прямыми волосами, — она казалась ему красивой.

Прежде чем вернуться в Араш, они пошли в клинику. Поль прошел исследование, результаты оказались не лучше и не хуже, чем раньше. Но его угнетало другое.

Что могла делать его мать? О чем она могла теперь думать? Он долго ждал от нее письма, любой весточки, которая напомнила бы о ее ревности, но после свадьбы она ни разу не подала признаков жизни. И в конце концов он не стал уклоняться от мистической силы воспоминаний. Столь желанное прежде отстранение стало для него невыносимым: она больше не посягала на него, она жила с мертвым сердцем, сама терзая его, как палач, и сама же становясь его жертвой. Она использовала оружие, которое выбрала сама, и теперь, в свою очередь, стала недостижимой.

То лето было очень жарким. Поль выходил из шале, только когда наступала ночь. Они гуляли с Симоной по дорогам и через пастбища, держась за руки. Он садился возле нее на опушке леса. Его взгляд терялся во тьме гор, он сидел, ссутулившись, вытянув длинные ноги, и в глубине души лелеял былую ненависть, вкус которой возвращался к нему, когда он сжимал в зубах мундштук своей трубки. Как и прежде, трубка была не раскурена, и он должен был терпеливо сносить тишину.

Он хотел было написать матери, причинить ей новую боль. Как—то утром, когда он был один, он написал письмо. Но не отправил. Слишком большая была бы для нее радость. Рано или поздно она сдастся первой. Она не сможет больше подавлять в себе злобу, пребывать в

агонии, если не увидит, как он умирает. Скоро или чуть позже, если он научится ждать, она разобьет стену молчания.

Он ждал.

Из поездки к морю он привез множество географических карт. Симона даже придумала игру. Долгими часами они бросали черные и белые кости, перемещали на картах, которые разделили на квадраты, крошечные деревянные кораблики. Главное было добраться до Коломбо, Сингапура или Подветренных островов Полинезии. Можно было выбрать любой маршрут, делать остановки и выкрикивать названия, раздававшиеся чудным эхом. Эта игра его завораживала. Она тоже вошла во вкус, видя, как серьезно играет он. Он наверняка в это верил, и она, в конце концов, тоже поверила.

Но, отвлекаясь от карт, он вспоминал о другом. Каждое утро после прихода почтальона — новое разочарование. Она напишет, бесспорно, но когда? Он второй раз порвал длинное письмо, которое намеревался послать ей.

Симона наблюдала за ним и понимала, что он от нее отдаляется, но боялась его расспрашивать. Она подходила к нему, крепко обнимала.

— Я здесь, — говорила она, — совсем рядом, дорогой мой.

Он не отвечал. Она целовала его, а он думал о другом. Она настаивала, продолжала его целовать.

— Я счастлива, — говорила она.

Он рассеянно улыбался, он просто ее не слышал.

В конце лета Полю исполнилось тридцать. Они поехали на три дня в Шамони, чтобы отпраздновать это событие. Поль не видел Монблана, снег летом стал для него открытием. На второй день Симона оставила его одного в гостинице на целый час. Она вернулась с охапкой цветов. У нее даже был для него подарок — тяжелая большая коробка, которую она положила на кровать, войдя в комнату. Она отстранилась, когда он хотел поцеловать ее.

— Сначала открой, дорогой мой.

Он сорвал ленту, которой был обвязан пакет.

— Не хочешь сказать, что там?

В последний момент он заколебался, прежде чем открыть коробку.

— Открой, — сказала она, — если тебе не понравится, я подарю что-нибудь другое, то, что захочешь.

Она обняла его за талию. У нее перехватывало дыхание, она зарделась, и он понимал, что то, что сейчас происходит, сближает их.

Он открыл коробку и увидел сначала только листы венированной фанеры, металлические стержни, деревянные кубики, непонятное для него оснащение. Потом он понял. Она стояла рядом, и он резко сжал ее в объятиях:

— Я даже об этом не думал, это ты, это ты...

Но это нельзя было выразить словами. Он целовал ее в лоб и в глаза, и в щеки, потом, почти не торопясь, в губы. Теперь она смеялась, испытывая облегчение, с горящим взглядом, а в смехе звучали глубоко запрятанные слезы. Боже, как она вдруг похорошела!

— Мы построим их вместе, — сказала она, — большие, огромные корабли!

Он схватил коробку с конструктором обеими руками, как ребенок, опустился на колени возле окна, чтобы выложить содержимое на ковер.

Когда он увидел все эти частицы счастья, его охватило радостное желание смеяться и кричать. Он повернулся к Симоне. Она по-прежнему улыбалась, стоя возле кровати, и ему

захотелось сказать что-то, что могло бы выразить давно забытые, бушевавшие в нем чувства, — слова, которые могли бы поколебать чудовищность окружающего, стереть прошлое и настоящее. Сказать, что он ее любит, что он счастлив, не чувства, не важно, что именно. Но он только покачал головой и, не вставая, протянул ей руку.

— Иди сюда, — сказал он, — иди сюда.

Они ужинали поздно, в пустом ресторане. На улице лил дождь, и это сближало их. Это заставило их обратиться к воспоминаниям. Эта женщина была его женой, та самая, которая убегала от него по блестящему от дождя тротуару, та самая, которая плакала, забившись в кресло, потому что боялась поверить в счастье. Теперь, нежная и заботливая, она шептала успокаивающие слова, которые шепчут любовники.

И это не казалось ему странным. Слушая Симону, он за один вечер испытывал больше покоя, чем за всю жизнь. Даже ее эйфория была заразительна. Она что-то рассказывала, наверное о них, но он не слышал слов, не пытался понять их. Наверняка он тоже их знал — простые слова, смешные, так глубоко спрятанные в его сердце, что еще требовалось какое-то время, чтобы извлечь их оттуда, он не мог не знать их. Он узнавал их ритм и их отзвук. Наверное, он шептал эти слова сам себе, когда-то давно, в страшные ночи одиночества.

Позднее он закашлялся, и она взяла его за руку:

— Тебе плохо?

— Мне никогда еще не было так хорошо.

— Значит, ты не жалеешь?

— О чем?

— Что женился на мне, — сказала она. — Ты был так далеко в последнее время, выглядел так странно.

— С этим покончено, — сказал он. — Мне с тобой очень хорошо.

Какое-то мгновение он был готов все ей рассказать, заговорить о матери. Но ему не хотелось разрушать очарование, и к тому же он думал обо всем без всякого возмущения, какой тогда смысл?

Именно в эту минуту в зал вошла цыганка и направилась к ним. У нее было смуглое, сильно накрашенное лицо, красное, черное, синее, и огромные бездонные глаза. Она шла бесшумно и небрежно, слегка склонив голову набок, опустив руки вдоль тела. Не обращая внимания на протесты владелицы ресторана, невысокой женщины с раскосыми глазами, которая требовала, «чтобы клиентов оставили в покое», она остановилась возле Поля, положила обе руки на стол и заговорила с таким сильным иностранным акцентом, что он не мог понять ее слов.

— Нет, нет, — сказал он, мотая головой.

— Ты не хочешь знать свое будущее? — сказала женщина. — Я увижу что-то очень для тебя хорошее на твоей ладони.

— Не стоит, — сказал Поль.

— Боишься? Дай руку. Я уже вижу многое на твоём лице.

Они с Симоной растерянно улыбнулись друг другу.

— Не веришь? — сказала цыганка.

Она объяснила, что ей нужно верить, что она говорит правду, что многие притворяются цыганками и говорят неизвестно что, но что она из Чехии и знает толк в своем деле.

Она посмотрела на Симону.

— Ты тоже мне не веришь?

— Не так-то уж весело знать свое будущее. Нет, мне не хочется.

— Я и про тебя могу сказать. Но я знаю: тебе страшно. Не нужно бояться, все будет.

Хочешь?

Они подшучивали над ней, смущенные ее настойчивостью. Она действительно говорила с акцентом? Но ее трудно было смутить. Она не убирала рук со стола, и Симона дала ей сигарету, когда она попросила.

— Значит, хочешь?

— Скорее нет, — сказал Поль.

— Ошибаешься.

— Знаю.

Она сделала движение, будто уходит, вздохнула, снова посмотрела на них своими огромными черными глазами. От ее длинного платья пахло грязью и ладаном. Он слегка отстранился.

— Ладно, к черту, — сказал он наконец. — Она ведь не отстанет, как ни крути.

И он протянул ей левую руку.

— Ты не пожалеешь, — сказала цыганка.

Но когда она ушла, радость этого дня могла бы быть испорчена, если бы он стал думать об этом. Но он не стал.

И снова омерзительный образ матери занял его мысли. Наверное, в словах цыганки была доля истины. Он сказала многое, над чем он смеялся, деньги, счастье, любовь — вся эта чушь, которую несут гадалки, но вдруг она непостижимым образом угадала какую-то правду?

Она прочитала траур на его руке.

Когда они вернулись в шале и Симона ставила машину в гараж, Поль почувствовал еще большее беспокойство, чем накануне. Он боялся взглянуть на почтовый ящик у входа в сад.

Он пошел и лег на диван в гостиной. Ему было холодно. Симона зажгла камин, сварила кофе. Чтобы забыть про тиски, сжимающие его легкие, он заставлял себя прислушиваться к движениям жены на кухне. И не мог. Здесь его ожидало письмо, ее письмо, и он воображал себе крупный и ленивый почерк, неровные строчки, слова матери, обращенные к нему через безмолвие. Что она могла ему сказать? Когда Симона принесла ему горячий кофе, он дрожал, и она пошла за одеялом.

— Там должно быть письмо, — сказал он.

Она поняла и вышла, ни слова не говоря. Это было не письмо. Она вернулась с телеграммой, которую двумя руками прижимала к груди. Он приподнялся, чтобы взять ее. Он присела рядом.

— Не читай сразу, — прошептала она.

Но он уже знал. Он, не колеблясь, так быстро раскрыл телеграмму, что на мгновение его сердце, должно быть, перестало биться. Пока он читал, он не разбираал слова, они словно сами входили в него.

Он выронил листок на ковер. Попытался представить себе старую женщину в черном в ее последние минуты, попытался увидеть, как она сжалась в кресле, как бы обхватившем ее, попытался снова представить себе звук ее голоса, ее саркастические замечания, на которые она была щедра, подстерегая его, как вампир.

Столько лет, столько лет и саркастических замечаний, голос, улыбка — все умерло вместе с ней. Он вспомнил один поцелуй. Наверное, это было так давно, что он не знал,

плакать ему или смеяться. Однажды она его поцеловала, он помнил и ее, и тот день, но все остальное постепенно превращалось в страшный сон, какой-то смутный, не вписывающийся в его жизнь. На какое-то мгновение он вновь увидел ее молодое лицо и почувствовал запах ее духов, но это было так мимолетно, что он с трудом осознал это.

— Ой, смотри, смотри!

Ее призрак еще наверняка витал среди мебели и любимых безделушек. А ее морщинистое лицо будет склоняться над ним, когда ему будут сниться кошмары, ее фальшивая улыбка будет преследовать его и возвращать в прошлое. Этот явившийся однажды священник, этот священник и столько горечи, столько гордости, злобы и молчания...

Вспоминая все это, он снова посмотрел на телеграмму. Он почувствовал у себя на плече руку Симоны. Он перечитал слова, которых так страшился, так желал, которые извергал из себя долгими месяцами, и которые Этьен — лысый лоб и взбухшие вены на висках — наконец вывел на бумаге, адресовав ему.

Теперь это уже не имело значения. Теперь только это и было важно. Однажды вечером она тихонько склонила голову, и кто-то зашел и увидел, что она умерла.

— Мне уйти? — сказала Симона шепотом где-то рядом с его щекой.

— Нет, нет, останься со мной.

— Я люблю тебя, дорогой мой.

— Я знаю.

— Мне больно за тебя, — сказала она.

Она прижалась к нему и протянула руку к телеграмме. Он ее скомкал, скатал в шарик и бросил в камин.

— Как это случилось? — сказала Симона.

Да, нужно было говорить, говорить не переставая. Нужно было говорить до конца дней, все дни и все ночи напролет, слушать всю музыку мира, изгонять жуткую тишину из его бывшей жизни.

— Неважно. Это можно было предвидеть.

— Она не болела?

— Нет, все было хуже.

Он обнял Симону, крепко прижал и неожиданно расхохотался. Небо, вилла, каменная лестница

и священник, которого она пригласила. А ушла сама! Он стал смеяться, одинокий и жалкий, он смеялся, надеясь, что это действительно не имеет значения, что солнце вернется и он все забудет. Симона в его объятиях повторяла еле слышно слова, которыми хотят успокоить животных, а у него они вызывали смех — «Господи, Господи! Какая прекрасная история!», он продолжал смеяться, прижавшись лбом к плечу жены, невыносимо, как у него разрывалось сердце.

А чуть позже, все еще смеясь, он пожал плечами, как это делают дети, и заплакал навзрыд.

Пришла осень. Поль целыми днями строил макеты кораблей, а Симона покупала ему новые коробки с деталями. Она тоже участвовала в игре.

— До чего ты серьезный! — говорила она.

Когда он с энтузиазмом клеил и прибивал, то не замечал, как бежит время, и с наступлением сумерек удивлялся, что приходилось зажигать лампы и прекращать работу перед сном.

— Можно подумать, что ты строишь настоящие корабли, — говорила она.

Иногда она брала в руки его лицо и добавляла, что когда-нибудь, когда он устанет, то сам перестанет в это верить. Он пожимал плечами, смотрел удивленно.

— Да нет же, послушай. Ведь это по-настоящему.

Нежность, которую они испытали друг к другу

в Шамони, сохранилась. И даже погрузившись в ночь, они любили друг друга, отдаваясь этому все сильнее и сильнее. Шале стало их убежищем. Они привыкли к теплоте и приятному ощущению укутанности.

По утрам Симона ездила в деревню за покупками, а на обратном пути вела машину как сумасшедшая: дорога, ворота, аллея, скрип тормозов, лестницы, но он всегда был на месте. Ее часовое отсутствие читалось у Поля на лице — в полуулыбке или покачивании головы, ей не составляло труда расшифровать смысл: как мне тебя не хватает, ты была далеко, так далеко, а я оставался один.

Потом пришла зима.

Подремывая в наступивших холодах, деревня ждала снега. Он выпал декабрьским вечером, тяжелый, медленный. И за одну ночь все стало белым.

Единственным живым в этом белом мире оставался перезвон колоколов, бывший в их темные запотевшие окна, похожие на иллюминаторы.

— Где мы? — говорил Поль. — Никто не найдет нас и зима никогда не кончится. Мы слишком далеко забралась.

Ему пришлось много дней пролежать в постели, как и в прошлом году в Монте—Карло. Лихорадка окрашивала его лицо, оживляла цвет глаз, вздувала губы.

— Не уходи, не уходи, — говорил он. — А вдруг я умру, а вдруг я внезапно умру, а ты даже не заметишь?

Он любил ощущать ее возле себя, любил, чтобы она читала ему вслух. Даже если он не слушал. Он мог молчать часами, но никогда не был так близко, как сейчас.

— Ты не можешь умереть, — шептала Симона, — ты слишком красивый, ты не можешь уйти без меня.

Она научилась брить и стричь его. Она даже хотела, несмотря на его протесты, растереть его тело мазью с одеколоном, «снадобьем моей прабабушки, ей девяносто четыре, а она еще жива». «Ну и что с того?» И когда он удивлялся, какое удовольствие она испытывает от прикосновений к его коже, от легких поцелуев, которыми она осыпала его грудь, она на секунду застывала, словно опечалившись.

— Это потому, что ты такой красивый — и за себя и за меня, — говорила она.

И она так крепко прижимала его потом к себе, что он не осмеливался протестовать.

Зато она совсем не думала о себе. Чаще всего надевала юбку и свитер, толстые шерстяные носки, распускала длинные волосы по спине, она ни разу не смотрела на себя в зеркала, развешанные по дому. Он сделал ей замечание по этому поводу: они так и не смогут потратить деньги, которые достались ему в наследство, она просто обязана покупать платья, драгоценности. Но она только смеялась.

Она даже никогда не носила то, что он купил ей в Монте—Карло, только подвеску в форме сердечка. Для шале юбка и свитер вполне подходили, и ей было в них удобно.

— Я тебе так не нравлюсь?

— Конечно, нравишься. А еще больше — безо всего.

Он сам удивлялся, что ему не приходится лгать. Он любил ее обнаженное тело,

округлые груди, длинные ноги. Любил ее тяжелые волосы, ее губы, приоткрытые от удовольствия, глаза цвета неба, даже ее походку. Он уже не видел того, что казалось ему неловким или невзрачным во времена их знакомства, или же просто полюбил это. И он знал, что это было не привычкой, а скорее чудесным порывом, толкавшим ее к нему, чтобы вновь достигать совместно покоренных любовных вершин.

И вернулась весна. Поль с Симоной опять стали гулять по вечерам. Они снова шли рука об руку через леса и пастбища. Было безлюдно. Они разговаривали только с бело-рыжей коровой, которая издали узнавала их и шла им навстречу.

Однажды Поль получил письмо от Этьена, тот искал новое место, которое пришлось бы ему по вкусу. Он упомянул леди Фолли и ее последние минуты. Но зов из прошлого не оказал на Поля того действия, которого он опасался. Он прочел письмо, не испытывая ни боли, ни ненависти, и не ответил. Только послал Этьену пакетик табака, надеясь, что тот поймет. Письмо вызвало у него мимолетную грусть, но она пройдет, пройдет, останется лишь чуть-чуть меланхолии, сжимающей сердце при мысли об ушедшей весне и исчезнувших годах.

Как-то июньским днем Симоны не было больше трех часов. Поль вообразил несчастный случай, искореженную машину на дне оврага. Вернувшись, она пошла прямо в спальню и бросилась на кровать. Она тут же прервала его упреки:

— Лучше выслушай меня, — сказала она.

Он выслушал. Она была у врача. Не из-за него. Это другое, и он должен знать. Будет ли он рад, когда узнает? Она боялась, что нет. Пока она говорила, он подошел к ней, не отрываясь смотрел на ее лицо, и постепенно его заволокло дымкой. Комната, кровать, Симона, все подернулось дымкой в этой головокружительной пустоте. Вцепившись руками в простыню, он слушал, потрясенный, его губы приоткрывались и закрывались, но он не мог вымолвить ни слова. Неужели это правда? Она говорила, что уверена. Врач не мог ошибиться. Неужели это точно? Она храбро повторяла простые слова, ласкала его затылок, удивлялась его молчанию. Полагая, что он не понял, она начала объяснять снова.

— Ты не хотел? — сказала она наконец.

Ему пришлось сделать усилие, чтобы вернуться в комнату, увидеть ее, ее, господи, это правда, она и я.

Он бросился ей на грудь. Это Коломбо, это Сингапур, все возможно, кто-то поедет, пусть не я сам, но это тоже буду я. Она смеялась, прижимала к себе, как ребенка. Ребенок.

— Ты счастлив? Счастлив, ну скажи!

Он целовал ее, смеялся вместе с ней. Это нельзя было назвать счастьем, это было нечто безымянное. Не из этого времени, не из этого мира, но это были она и он, и снова, опять она и он.

Нужно было что-то делать. Но что? Что сделать, чтобы помочь? Может быть, так сильно об этом думать, чтобы оно обязательно случилось, так сильно в это верить, чтобы однажды оно стало настоящим и живым.

Внезапно он испугался, слегка отстранился, протянул руку, коснулся ее живота.

Но оно не могло еще быть там. Его нельзя было почувствовать.

И они жили в этом ожидании.

Поль хотел уехать из Араша, когда это случится, отправиться в Париж, чтобы она могла попасть в лучшую клинику, чтобы ее наблюдали лучшие врачи. Все следующие месяцы он без конца думал о ребенке, который появится. Наверняка мальчик.

Симона заразилась его возбуждением, разделяла его мечты. Иногда она уже жалела об их покое для них двоих, уже упрекала, что он забыл ее ради другого. Какую комнату они ему отведут? Как назовут? Как только в голову ему приходила мысль, следовал взрыв радости, за ним долгое молчание, а потом полное отчаяние.

— Нет, нет, не годится. Всех на свете зовут Филиппами. А Патрис звучит претенциозно.

Он нанял бонну по имени Бернадетта, дочку местного фермера, которая с наступлением темноты уходила домой.

Он запрещал Симоне заниматься любой работой, слишком долго ходить, слишком рано вставать. Он нашел новую форму тирании.

— Бедняжка, — говорила она. — Но ведь у нас будет девочка!

— Тогда назовем ее Виржини.

Девочка, мальчик. По большому счету, ему было все равно. Скоро появится живое существо, его существо, которое будет его воплощением, будет ходить, смеяться, зажигать спички, нежное чудо на земле, нежное чудо, посланное людьми и Богом.

А в утро их отъезда, туманное и молчаливое ноябрьское утро, слова, которые они произносили, запирая шале, звучали почти как молитва.

— Как знать, вернемся ли мы? — сказала Симона.

Он обнял ее за плечи, пока шофер такси, которое они вызвали, относил чемоданы в машину.

— Мы вернемся втроем.

— Мне страшно.

— Пойдем, — сказал он. — Мы не бросим наш дом.

— А вдруг мы никогда не вернемся? Вдруг у нас будут другие планы?

— Это будет недолго, — сказал он. — Скоро мы вернемся, и все будет так, мы оставили.

— Мне страшно, — повторила она.

Когда машина отъехала, она прижалась лбом к стеклу, а он, сидя рядом с ней, на мгновение забыл, почему они уезжают, и почувствовал, что у него сжалось сердце и что все в нем протестует против этого. Их опустевшее шале все уменьшалось на фоне удаляющегося горного склона и стало таким крошечным, что они даже не заметили, как оно исчезло.

— Нам было так хорошо здесь, — сказала Симона.

Она взяла его за руку. Они оба закрыли глаза.

В Париже они сняли апартаменты в отеле «Мадлен». Окна выходили на бульвар, поток машин и прохожих оглушал Поля, и он нервничал. Он взял с собой макеты кораблей, но строить ему не хотелось. Он не отходил от Симоны. Он часто клал руки ей на живот, чтобы почувствовать, как шевелится ребенок. Они читали, слушали музыку. Заказывали обед в номер. Как-то днем сходили в Салон детства, в другой раз — на концерт Луи Армстронга в зале «Плейель», раз или два в кино, но Симона не любила развлечения. Под предлогом дождя или холода она оставалась в своем коконе. По правде говоря, она стеснялась.

Он улыбнулся, когда она осмелилась признаться ему в этом. Он-то хотел бы продемонстрировать всем прохожим, что его жена беременна, гулять с ней рука об руку со спокойной уверенностью сильного. Но она соглашалась выйти только для похода к врачу, да и сами врачи ее смущали, она с трудом переносила эти визиты.

В середине декабря ей сказали, что все случится очень скоро, и что оба — и она, и

ребенок — в полном порядке. В этот вечер она согласилась пойти в ресторан, показаться на людях, и даже пригубила шампанское, которое привело их в приподнятое состояние духа. В зале висели огромные люстры, и Поль заметил, что они отражаются в ее глазах.

Ночью она ворочалась в кровати. Он включал лампу, целовал Симону, но она даже не просыпалась. Он долго смотрел на нее и, если потом не

мог заснуть, гасил свет и лежал в темноте, не двигаясь, с открытыми глазами.

За неделю до Рождества он отвез ее в клинику на такси. Он оставался возле нее до вечера, от волнения грыз ногти. Потом с наступлением ночи, когда не мог больше слышать ее первые стоны, вышел пройтись.

Он ходил по улицам, украшенным к празднику, проглотил сэндвич в каком-то кафе, посмотрел фильм, в котором ничего не понял.

Около полуночи в клинике перед дверью палаты его ждал врач. Поль не успел еще раскрыть рта, как тот стал его успокаивать:

— Все в порядке. Вы скоро сможете ее увидеть, но пока пусть она отдохнет.

— Ей было очень больно?

— Да нет, — сказал врач. — Все прошло очень хорошо.

— А он?..

— Он? Нет, это девочка...

— Девочка? — сказал Поль.

И он выделил это слово, чтобы посмаковать его нежность.

— А она... она тоже в порядке?

Врач не опустил глаза:

— С ней не все хорошо...

— Она..?

— Нет, — сказал врач, — но с ней не все хорошо.

Мгновенье Поль не знал, что сказать. Наверное, он думал обо всем, кроме этого.

— Но вообще-то она будет жить, она может жить?

— Ребенок?

— Да.

— Надеюсь, — сказал врач. — Сделаем все, что в наших силах. Просто с ней не все хорошо, только и всего.

Он тоже не знал, что сказать. Он покачивался, смотрел в глаза Полю с усталым видом.

— Я могу ее увидеть? — сказал Поль.

Ему показали ребенка. Что-то темно-красное, похожее на обезьянку среди медсестер в белом. Он посмотрел на это, голова у него гудела, и внезапно почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Врач подхватил его под руку, чтобы поддержать.

— Но он должен жить!

Тот не ответил, покачал головой, словно выражая покорность судьбе, и вывел его за дверь. В приемной Поль рухнул на скамейку: закрыл лицо руками и повторял последнюю фразу, только совсем тихо, словно хотел сказать: «Я не виноват».

— Будьте разумны, — сказал врач. — Вы же знаете, что мы сделаем все, что в наших силах.

— Такой уродливый, — сказал Поль. — Даже не подумаешь, что это живое существо.

— Но, однако, оно живет, — сказал врач.

И тихонько похлопал его по плечу.

— Нужно ждать. У новорожденных поразительная сила, вот увидите. Если немного повезет, у вас будет хорошенькая маленькая девочка.

У него даже не было сил плакать. Он оперся затылком на спинку скамьи и широко открыл полные недоверия глаза, но при этом ничего не видел. Он только пытался понять.

— Хорошенькая маленькая девочка, — повторял он.

Ребенок умер три дня спустя.

В течение многих недель Поль не хотел никого видеть. Он заперся в гостинице со своими макетами, задыхаясь под бременем им же сотворенной мечты, забыть которую он не мог. Симона вернулась из клиники одна. Она увидела его: мрачный и подавленный, с пустым взглядом, он лежал на ковре спальни, постаревший лет на десять. Она подошла к нему, открыв объятия, но не принесла ему того, что он ждал долгие месяцы. Теперь он больше ничего не просил. Когда она вошла, он посмотрел на дверь, только и всего. И снова впал в сомнамбулическое оцепенение.

Окна, выходящие на бульвар, были закрыты, но, несмотря на все, неожиданно он вновь ощутил эту злобу, которую, как ему казалось, потерял навеки. Его ребенок рос вне времени, пространства и земли людей, он рос, становился очень молодым, очень больным и каждый день умирал.

Он почти перестал говорить. Симона наблюдала за ним, угадывала его мысли, не пытаясь прервать их. Да и как она бы посмела? Это были его мысли. По вечерам, когда она ложилась рядом с ним, он отстранялся, чтобы до нее не дотрагиваться, чтобы предоставить ей лишь место в тени. Она привыкала к этой роли. Она хотела бы стать тенью. Ежедневно, лицом к лицу, каждый из них склонял голову перед собственными иллюзиями, молча произносил монологи о собственном разочаровании.

Она подошла к нему как-то вечером, приложила руку к его щеке, чтобы узнать его, вновь его обрести. Он внезапно вскинул глаза, и она прочла в его взгляде столько удивления, отвращения и скорби, что отпрянула, словно испугавшись. Потом опустила голову и, ни слова не говоря, вышла из комнаты. Когда она позднее оказалась рядом с ним, то обрела свое прежнее лицо, пухлые капризные губы, потухшие глаза, гладко зачесанные волосы, как при их первой встрече. Ей не хватало только пера на шляпке.

Он ел где-то в городе. Она не задавала никаких вопросов, не упрекала. Кажется, она даже не замечала, когда он уходил.

Как-то февральским вечером, устав от этой атмосферы и самого себя, он познакомился в баре с девушкой и вернулся только утром — челка прилипла ко лбу, неуверенная, нетвердая походка. Симона притулилась в кресле в гостиной, лицом к двери. От скрежета ключа в замочной скважине она открыла глаза. Она тут же поняла, что он пьян.

— Где ты был?

К ней вернулся голос, резкий, как в Монте—Карло, от которого он замер посреди комнаты. Она шла к нему с напряженным лицом, заложив руки за спину, чтобы он не видел, что они дрожат.

— Ну? Ты не можешь ответить? Ты до такой степени напился?

Она сделала еще шаг вперед, бессознательно провела рукой по его волосам.

— Делаю то, что хочу, — сказал он. — Ты ведь не сильно по мне скучаешь?

Она схватила его за руку, когда он хотел отстраниться.

— Я имею право знать. Ты не говоришь ни слова, ни единого слова! Думаешь, я долго смогу это выносить?

Ей нужно было отдышаться, и он воспользовался этим, высвободил руку и пошел в спальню. Но он чувствовал, что она идет за ним, готовая начать сцену, которой он хотел избежать. Он споткнулся о столик и, дотянувшись до двери, вцепился в створку.

— Тебе точно станет лучше, — сказала она ему в спину. — Когда доходишь до такого состояния, это явно идет на пользу здоровью.

Она говорила тише, спокойнее, и он повернулся, чтобы взглянуть на нее. Стоя в двух шагах от него, подавшись вперед всем телом, она оперлась на столик, на который он только что налетел, ее лицо было почти неразличимо против света из окон, и он не видел, что оно выражало. Он не мог выносить белизну зари, пожал плечами и пошел в спальню. Она за ним.

— Где ты был? — повторила она.

Тон ее голоса был скорее горьким, чем раздраженным. Она осталась стоять на пороге, бледная, дрожащая, и какое-то мгновение, видя ее такой, он почувствовал себя настолько усталым, что ему захотелось оказаться в ее объятиях, почувствовать ее тепло. Но он не шелохнулся.

— Я ходил пить, — сказал он.

— Прекрасно вижу. Но почему?

Это она и хотела понять. Он знал уже, когда вошел. Он сделал неопределенный жест.

— Оставь меня в покое, — сказал он. — Прошу тебя, оставь меня в покое.

Но она не хотела.

— Объясни мне, почему! — закричала она, трясая головой. — Я хочу знать, в конце концов.

Он слегка оттолкнул ее, но она снова подошла, и ему пришлось толкнуть ее сильнее, чтобы закрыть дверь. Она вцепилась в ручку, кричала, но он запер задвижку.

— Я хочу знать, ты слышишь! Я хочу знать, что происходит.

Теперь она рыдала, трясла запертую дверь, и он отступил к кровати, чтобы не слышать ее.

— Разве это моя вина, — кричала она в слезах, — разве это моя вина, моя?

Он застыл возле кровати, у него давило сердце и пересохло в горле.

— Почему ты такой? Разве это моя вина? Я этого не хотела, ты прекрасно знаешь!

— Чего ты не хотела? — ответил он, не сдержавшись. — Разве я в чем-то тебя упрекаю? Я ни слова тебе не сказал.

— Именно поэтому.

Она ударила кулаком в дверь.

— Открой, — сказала она. — Открой мне!

Он подошел и встал перед дверью, не открывая. Сквозь шторы проникал свет, разбрасывая яркие пятнышки по стенам.

— Прошу тебя, — сказал он, — оставь меня в покое. Поговорим об этом в другой раз.

— Мы должны поговорить сейчас. Если ты такой из-за ребенка, то нужно поговорить сейчас.

Она на минуту замолчала. Он слышал, как она дышит за дверью. Она перестала плакать, она успокаивалась.

— Я думала, что он у нас будет, — сказала она затем. — Я думала, что мы сможем иметь его и быть счастливы вдвоем. Но я не виновата в том, что он умер.

— Оставь меня, — сказал он.

— Нет. С меня довольно.

Она казалась спокойной.

— Я думала, что ты несчастлив из-за ребенка. Но ты ничего не сделал, чтобы вернуться ко мне, и я знаю, что ты меня упрекаешь. Если бы ты мог увидеть свой взгляд!

Он плохо ее слышал. Голос звучал тихо за дверью.

— Послушай, — сказал он, — ложись спать. Мы поговорим обо всем позднее. Я больше не могу, мне нужно заснуть.

— Ты пьян, — сказала она. — Вот так ты лежишься? И как после этого ты хочешь иметь ребенка?

Он застыл на минуту потрясенный, вся нежность улетучилась, а тело настолько устало, так устало, что ему пришлось двумя руками ухватиться за задвижку, чтобы не упасть.

— Ты с ума сошла! — крикнул он.

— Как ты думаешь, из-за чего?

— Ты с ума сошла!

— Тогда спроси у врача, — сказала она, в свою очередь повышая голос. — Спроси у него.

Он выпрямился, ударил в дверь кулаками и прижался к деревянной поверхности. Он должен был защитить себя, обрести силы, он не мог допустить, чтобы его вот так добивали, уж во всяком случае не она.

— Дрянь! — сказал он.

Он услышал, как Симона царапает дверь ногтями, услышал свое короткое свистящее дыхание.

— Поль, — сказала она, — прошу тебя...

Он снова стукнул кулаком, он ощущал в себе такую ярость, что готов был открыть дверь, броситься на нее и ударить. Но его спас кашель. Она заговорила, когда он раскашлялся, но он не мог уловить смысла ее слов.

— Дрянь, — повторил он тогда.

Ему показалось, что она смеется.

— Какой же ты подонок, — сказала она мгновение спустя. — Настоящий подонок.

Он подошел к кровати и упал, схватившись руками за голову. Тело содрогалось от судорог, грудь горела, а она, за дверью, снова начала кричать. Он вытер простыней кровь, которая текла с губ, тщетно стараясь не слышать Симону.

— Открой мне, Поль, открой!

Уткнувшись в подушку, полный ненависти и к

себе и к ней, он долго слушал, как она яростно колотит в дверь. Она еще продолжала стучать, а ему хотелось встать, раздвинуть шторы, увидеть дневной свет. Но у него на это не было сил. Он протянул руку, включил лампу у изголовья, посмотрел на кровь на простыне. Она устала, ушла, а он смотрел на красную кровь своих легких, вспоминал мать и маленький комочек плоти, лишенный жизни. Снаружи доносились успокаивающие утренние звуки. Она молчала, она ушла, а он продолжал лежать, одетый, неподвижный, и смотрел на собственную кровь. И даже свет не мог разогнать призраков.

Он вышел из спальни только на следующий день после полудня. Надел махровый халат на голое тело. Когда он пересек гостиную, Симона сидела в углу возле окна с книгой на коленях. Она не подняла глаз. Ему не хотелось ни говорить с ней, ни вызывать горничную, но он был голоден.

— Есть что-нибудь поесть? — сказал он, не поворачиваясь.

Она не ответила. Он стоял в ожидании, не двигаясь, глядя в пол, но, потеряв терпение, снова нарушил молчание.

— Я голоден.

Ей пришлось пожать плечами у него за спиной, он бы на ее месте сделал бы то же самое.

— Твой вчерашний ужин на комод, — сказала она голосом безо всякого выражения. — Если хочешь...

— Я не вижу.

Он прекрасно видел поднос, серебряные крышки на тарелках. Она не двигалась и молчала.

— Ну и?..

— На комод, — сказала она.

Она не поднимется. Она больше не поднимется с места. Его ожидания были теперь неуместными, отошли в область забытого, закончившегося. Он подошел к комоду, подождал немного, а потом опустил глаза и посмотрел на поднос. Обои на стенах были розовые. Он ненавидел этот цвет. Здесь он был просто уродливым, неуместным в эту минуту.

— Розовый, — сказал он.

Он взял из корзинки булочку, разломил. Она была черствой. Он пальцами взял ломтик холодного мяса, сделал бутерброд и начал есть, облокотившись на комод. На улице, вероятно, было холодно. Но в комнатах хорошо топили. Хорошая гостиница. Его отец раньше останавливался только в ней.

— Жесткий, — сказал он, жуя хлеб.

Он сам не знал, что именно он имеет в виду. Симона читала или делала вид, что читает.

— Ты спала? — спросил он.

Она все так же неподвижно сидела в своем кресле, и даже не повела бровью. Ее волосы при дневном свете казались светлее, чем обычно. Он попытался найти любезный тон, чтобы начать разговор.

— Я не спал этой ночью, — сказал он, подходя к окну. — Старался, но не смог.

Он прислонился лбом к стеклу, попытался рассмотреть поверх балкона, что делается на бульварах. Но балкон был огромным, и видны были только крыши.

— Я был пьяный, — сказал он. — Все, что я делал, все, что говорил, абсолютно бессмысленно. Мы не можем вот так ссориться до следующего года.

Он повернул голову, увидел ее глаза. Она, наверное, удивилась, но была слишком умна, чтобы поверить. Он ел, слегка улыбаясь, и мясо казалось ему безвкусным.

— Давай мириться, — сказал он. — То, что я говорил вчера утром, я вовсе не думал. Я был пьяный, только и всего.

Она продолжала холодно смотреть на него, сжав губы, и он присел на корточки, чтобы видеть ее лицо.

— Ты меня больше не любишь? — сказал он.

Она опустила глаза и вернулась к чтению. А он доел бутерброд, вытер руки о махровый халат. Он продолжал сидеть на корточках.

— Что тебе сказал врач? — прошептал он еле слышно.

— Ты же знаешь.

— Это я виноват, ведь так? Он сказал тебе, что ребенок уже был мертвым? И ты сама об этом думала, но мне ничего не говорила. Правда?

Она секунду смотрела на него, только секунду, и продолжала читать. Да, не дольше секунды, но этого было достаточно. Он вновь увидел свою мать.

— Я тебе не верю, — сказал он.

Поднимаясь, он задел ручку окна, потер спину.

— А кому ты веришь? — сказала Симона. — Ты веришь только себе одному?

Все-таки добилась своего.

— А ты, — сказал он, — ты мне веришь?

— Я тебе верила.

— Моим красивым словам?

Она захлопнула книгу.

— Замолчи!

Она встала и быстро направилась в комнату, которую они собирались сделать детской. Наверное, она там спала прошлой ночью. Он не спускал с нее глаз, пока она шла к двери с книгой в руке, волосы у нее были зачесаны назад.

— Бедная невинная крошка, — сказал он, — какая наивность!

Она застыла — очень прямая — на пороге гостиной. Он видел лишь ее спину, но представлял себе, как она зажмурила глаза, а рот болезненно сжала, словно ее ударили.

— Красивые слова, — сказал он. — Аты, большая глупая дылда, в них верила.

Он засунул руки в карманы халата, довольный тем, что она не может сделать ни шагу, даже не может обернуться.

— Ты это знаешь? — сказал он. — Ты все это знаешь или хочешь, чтобы я тебе объяснил?

— Ты на мне женился, — сказала она.

Но это напоминало допрос, и голос у нее дрожал. «Как будто она блеет, — подумал он, — теперь она еще и блеет».

— Да, я на тебе женился, это правда. Ради твоих прекрасных глаз.

Он засмеялся.

— Ты смотришь на себя в зеркало? — сказал он. — Ты смотрела на себя хоть раз?

По-прежнему замерев на пороге пустой комнаты, она приложила руку ко лбу.

— Ты на мне женился, — сказала она упрямо.

— На тебе или на другой, какая разница? Я хотел уйти, только и всего.

— Ты лжешь!

Она наконец обернулась, пылающие щеки на бледном лице, прямая спина, напряженная шея. Она держалась точно так же, как перед свадьбой, какой он знал ее тогда, она снова выглядела гротескно и скорбно.

— Ты лжешь! — повторила она, покачав головой. — Ты мог бы уйти от матери и не женившись на мне. Ты был искренним!

Он сделал несколько шагов вперед, встал возле нее, чтобы видеть, как дрожат у нее губы, смаковать боль и недоверие, читавшиеся на ее лице.

— А вот и нет, — сказал он, — я не мог, все было намного сложнее. Если бы я ушел один, неужели ты думаешь, что она умерла бы?

— Замолчи! — сказала она. — Замолчи, что ты такое говоришь!

— Почему же! Я должен был тебе все рассказать рано или поздно. Как я ее ненавидел, как она меня ненавидела и как она умерла.

Он подошел ближе, почти коснулся ее губ. Он прошептал:

— Ты имеешь право знать. В любом случае, ты помогла мне убить ее.

Она дала ему пощечину — отскочила назад, глаза наполнились слезами, ударила его с размаху, потом бросилась в комнату и закрыла дверь.

— Я так жаждал на тебе жениться! — выкрикивал он между приступами смеха. — Я так тебя любил!..

Он рухнул в кресло, вытянул ноги на ковре.

— Я так тебя любил, — повторил он тише.

Но он уже плохо понимал, что говорит. Через минуту, поскольку до него не доносилось никаких звуков, он осторожно постучал в дверь. Она не отвечала, и он решил съесть второй бутерброд. Он вернулся к комоду, взял булочку и холодное мясо. Когда он начал есть, то услышал звук разбитого стекла из комнаты Симоны, он перестал жевать и прислушался. Снова тишина.

— Это к несчастью! — громко воскликнул он с полным ртом, чтобы она могла услышать.

Наверное, она разбила стакан.

Этой ночью он снова ушел. По возвращении его ждал сюрприз. Гостиная была погружена в полутьму, ее освещал только свет лампы, горевшей в одной из спален. Этот полумрак придавал комнате странный, даже слегка угрожающий вид, и мгновение он не видел ничего другого, только этот свет, блестящий вдалеке и почти растаявший у его ног. Потом он услышал грохот и увидел Симону, стоящую на коленях на ковре с взлохмаченными волосами, халат распахнулся до талии.

У него перехватило дыхание: удар за ударом, она ломала его модели кораблей, скручивала мачты, вырывала проволоку, разбивала корпуса, и все это абсолютно спокойно, без ярости, не смутившись его появлением, с размеренностью метронома поднимая и опуская вертикальный разделитель для книг, который служил ей молотком.

Захлопнув дверь ногой, он кинулся на нее, схватил за плечи и резко потянул назад. Но она не выпустила из рук своего инструмента. На секунду ему показалось, что она сейчас ударит его. Но она сделала только одно движение, снова встала на колени, чтобы продолжить свое занятие.

— Ты с ума сошла? — крикнул он.

Она снова повалил ее на ковер и, когда она поднялась, вырвал разделитель у нее из рук и закинул подальше. И поскольку он продолжал удерживать ее, она сказала со спокойным упрямством:

— Оставь меня. Слышишь?

Он встал между ней и моделями и, видя, что она возвращается к прерванному делу, дал ей пощечину тыльной стороной ладони. Она покачнулась, но сохраняла спокойствие.

— Ты подонок, просто подонок!

Она бросилась к нему, стала царапаться, сумела вырваться и раздавить ногой корпус корабля.

— Черт возьми, ты уймешься? — крикнул он и снова вlepил ей пощечину.

Но она наносила удар за ударом, заставив его отступить. Он увидел при свете ее лицо, безумное лицо с сумасшедшими глазами. Пока она, как фурия, билась в его руках, он вдруг почувствовал, что его грудная клетка разрывается на части, а ноги подкашиваются.

— Вот так, — кричала она, — кашляй, кашляй сильнее, чтобы мне было слышно. Ты думаешь, я все буду терпеть, ни слова не говоря? Ты думаешь, так будет продолжаться?

— Хватит, — прошептал он, продолжая отступать, пока не почувствовал спиной твердую стену.

Она колотила его кулаками, царапала ему лицо. Он сполз по стене и рухнул на ковер, не прекращая кашлять, закрыл глаза, а она наконец отстранилась. Когда несколько мгновений спустя он попытался подняться, не прекращая кашлять — грудь горела, рот был полон крови, — он увидел, что она снова занялась моделями, вооружившись разделителем для книг.

— Симона, — заикаясь, произнес он, — перестань...

Теперь она смеялась, разбивая корабли, разлетавшиеся обломками во все темные углы комнаты. И он бессильно вынужден был присутствовать при этом разрушении. Его тело сотрясалось от кашля, он безмолвно наблюдал, как она била и била, грохоча разделителем, и свет из соседней комнаты вспышками озарял ее лицо, в котором не осталось ничего человеческого.

Когда она остановилась, вокруг валялись лишь бесформенные обломки дерева и металла. Она подошла к нему, запыхавшаяся, но довольная. Ему пришлось поднять глаза, чтобы взглянуть на нее.

— Тебе лучше? — сказала она.

Он ударился головой о стену, не мог сдержать слез, струившихся из-под век, но, видя слабость побежденного, она еще острее наслаждалась победой, и он закрыл лицо руками.

Ей хватило жестокости принести ему полотенце, чтобы вытереть кровь с рубашки и одежды, помочь встать на ноги, дойти до кровати. Он чувствовал, что грудь его горит, дыхание ослабевает, он больше не чувствовал своего тела.

— Хочешь пить? — сказала она, когда он лег. — Или ты достаточно выпил со своими шлюхами?

Он покачал головой.

— Уйди, прошу тебя.

— Я буду возле тебя, — сказала она. — Ты прекрасно знаешь, я всегда буду возле тебя.

Он приподнялся на локте. Боль в груди медленно утихала, он дышал ровнее.

— Оставь меня, — сказал он. — Ты похожа на стервятника.

Чуть позже он услышал, как она в гостиной звонит по телефону.

— Доктор скоро придет, — сказала она, снова усаживаясь у его изголовья.

— Мне не нужен доктор.

— Если бы ты на себя посмотрел, то не говорил бы так.

Он кусал губы, обеспокоенно оглядел комнату. Сегодня утром он не умрет. Вообще не умрет ни сегодня, ни завтра. К нему скоро вернуться силы, и он выгонит ее из своей жизни.

— Не впускай его, — сказал он, — я не хочу его видеть.

— Послушай же. Это неразумно, дорогой мой.

Она коснулась рукой его лба.

— У тебя температура, — сказала она.

— Мне не нужен доктор.

— Ну ладно. Может быть, действительно, тебе нужен не врач.

Он покачал головой. Увидел на ее месте мать. Узлы по очереди распутываются, но захлопываются новые ловушки.

— Мне никто не нужен.

Она наклонилась над ним.

— Послушай, — сказала она, — я не могу бросить тебя в таком виде, ты прекрасно это

знаешь.

Ее притворно сладкий голос раздавался где-то рядом с его ухом, пронзал мозг.

— Почему же? — сказал он. — Со мной все в порядке.

— А если ты умрешь, дорогой мой?

Он сумел улыбнуться.

— Не печалься обо мне, — сказал он.

Доктор оказался толстяком с медленной походкой и медленными жестами. Наверное, в его лысой голове был скрыт медленный ум, но лысина придает ученый вид. Ему потребовалось больше часа, чтобы понять, что ни за что на свете Поль не ляжет в больницу.

Когда врач вышел из спальни, Симона последовала за ним в гостиную. Она оставила дверь приоткрытой, Поль слышал, как они сели в соседней комнате, потом до него донесся голос жены, звучавший не тише обычного:

— Это серьезно? Я сильная, доктор, я хочу знать всю правду.

Последовала пауза.

— Нет, нет, — продолжала Симона, — он нас не слышит.

Поль непроизвольно напряг слух, но не мог унять колотившееся сердце. Она знала, что делает, когда не закрыла дверь спальни.

— Я не могу сказать, — раздался неуверенный голос толстяка. — Нужно сделать рентген, анализы...

— Он не хочет, — сказала Симона. — Но вы-то сами понимаете?

Новая пауза. Поль отбросил одеяло, бесшумно поднялся. Он подошел к двери, задерживая дыхание, осторожно ступая по ковру.

— Я хочу знать, — говорила Симона настойчивее, — есть хоть какая-то надежда?

Поль прислонился к стене, уже не дыша.

— Не думаю, — с сожалением сказал врач. — Он никогда толком не лечился. И теперь не лечится... Сейчас он дошел до точки...

Заскрипели пружины кресла. Поль услышал шаги жены, ходившей взад и вперед по гостиной.

— Мне очень жаль, — сказала врач.

— Нужно смотреть правде в лицо, — сказала Симона.

— Нужно большое мужество, чтобы быть рядом с ним.

— Это мой муж, — сказала она.

Шаги затихли. Полно стало холодно.

— И это... правда... конец? — сказала Симона чуть дрожащим голосом.

— Кто может знать точно?

— Вы должны знать, вы же его осмотрели.

— Несколько месяцев, может быть, год, — сказал врач. — Или чуть дольше. Но, прошу вас, не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь, — сказала Симона. — Год, вы говорите?

Она специально заставляла его повторять. А вдруг, неподвижно стоя за дверью, уже мертвый, он не расслышит? Поль тихонько дышал. Больно не было, все оказалось очень просто. Он даже чувствовал облегчение. Год — это не сегодня и не завтра.

— Да, год, боюсь, что так, — сказал толстяк. — Но посоветуйтесь с моими коллегами, возможно, если он захочет лечиться...

— Разве это излечимо? — сказала Симона.

Ответа не последовало. Возможно, он просто пожал плечами. Возможно, состроил недоуменную гримасу, означавшую: «Нет, но, может быть, в будущем?»

Шаги Симоны удалялись к входной двери. Врач грузно следовал за ней. Поль снова лег в кровать.

— Благодарю вас, доктор. Навестите его в ближайшее время.

Дверь открылась, наверное, они пожали друг другу руки.

— Вы мужественная женщина, — сказал доктор, помолчав. — Да, мужественная, но вы должны пройти осмотр. А главное, не быть поблизости. Подумайте о себе.

— Я никогда не смогу оставить его, — сказала Симона. — Никогда не смогу.

В голосе у нее слышались рыдания. Она очень эмоционально играла эту сцену.

— Так нужно, — сказал врач, — уверяю вас, вы не должны оставаться поблизости. Иначе...

Пауза.

— Иначе? — сказала Симона.

— Вы вскоре последуете за ним, — медленно произнес доктор.

И он вернулся в Араш один.

Стоял февраль. Было холодно. Деревья вокруг дома были покрыты снегом. Из окна кабинета он мог видеть деревню, подножье склона, а из гостиной — дорогу между горами. Это было единственное зрелище, которое он мог себе позволить, из дома он не выходил. Он часами наблюдал за дорогой. Иногда чувствовал какое-то волнение, когда машина или автобус шли в сторону деревни, но ему нравился звук мотора и шуршанье шин.

Как и в прошлом году, Бернадетта приходила в шале готовить, убирать и проверять, все ли в порядке. Она была не разговорчива, но каждый вечер Поль задерживал ее под разными предлогами. То дымоход в камине плохо тянет, то он потерял бежевый свитер, то ему нужна помощь, чтобы сложить книги.

Чтобы поговорить иногда с кем-то по вечерам, он вызывал к себе врача. Тот, который наблюдал за Симоной во время беременности, жил ближе всех. Но он тоже был неразговорчив. В конце концов Поль предпочел свое одиночество пустоте, остающейся от коротких визитов. А в остальном врач ему не был нужен. Состояние его ухудшалось, и он понимал это. Он сам не мог выносить свой кашель. После последней ссоры с Симоной ему приходилось ложиться, чтобы не задохнуться. Он слишком мерз, чтобы выходить на улицу, или просто слишком боялся упасть на дороге, поэтому оставался дома и весь день ждал ночи, но с трудом засыпал, когда оказывался в кровати.

Он напрасно ждал, что она напишет. Столько лет, столько лет, говорил он себе, небо, море и тишина. Встречаешься, цепляешься за чью-то руку и отчаянно надеешься, что это навсегда. Потом, однажды вечером, спустя годы, месяцы, дни, понимаешь, что ничего не осталось. И никогда ничего не было. Любовь, ненависть или безразличие — это одно и то же слово, вывернутое наизнанку, и однажды ночью, лежа с открытыми глазами в темноте, слушаешь, как безмолвные часы отбивают твои последние минуты, и оказываешься, как встарь, как в детстве, среди тишины, и уже не помнишь ни молитвы, ни тех слов, которые ты бормотал, чтобы не остаться одному.

В конце марта, когда растаял снег, он внезапно почувствовал усталость. Днем он не поднимался с кресла, стоящего перед окном, а по вечерам Бернадетта теперь укладывала его спать. Она вызвала врача, который послушал его легкие, покачал головой и исчез навсегда.

Он почти ничего не сказал, но Поль знал все, что он может сказать, и считал, что он выиграл лишнее время.

Когда распустились первые почки, он начал немного выходить. Спускался к дороге. Там он садился на то же место, где сидел когда-то с Симоной, смотрел, как подъезжают и отъезжают машины, думал о ней, всегда о ней, такой далекой, живущей своей жизнью, постепенно забывающей то, что когда-то могло напоминать настоящую любовь. Чем она теперь занималась?

Он представлял ее на концерте, в полинявших платьях их первых встреч, в этой идиотской шляпке, которую она больше не носила. Ему не удавалось увидеть ее полностью. Иногда это был ее нос, иногда рот или взгляд, но какой-то детали все время не доставало, у него в голове осталось только ее размытое нелепое лицо, которое он отталкивал от себя, а потом тщетно пытался представить себе заново.

Она оставила его на перроне вокзала. Она ничего не сказала, не сделала ни единого жеста, когда поезд тронулся, она неподвижно глядела, как он уезжает. Он помимо своей воли подошел к окну и помахал рукой. И сам удивился этому движению. Она на него не отозвалась, он видел, как она постепенно уменьшается, очень прямая, в темном пальто, повернув к нему лицо, и, возможно, совсем тихо она шептала слова прощания.

Но это не могло быть прощанием. Он чувствовал, как на него долгими бесшумными волнами накатывает ненависть сродни той, которую он испытывал к матери, но он продолжал надеяться, что однажды вечером какая-то машина или автобус, проходящие по дороге, привезут ее сюда.

Симона слишком ненавидела его, слишком мучила его последние дни, она не сумеет подавить в себе свою злобу, перечеркнуть одним движением свою жизнь, пуститься в новые приключения без его участия. Она тоже будет задавать себе сотни вопросов, на которые нет ответа, задохнется в этом отчуждении, истомится, чувствуя, что он недостижим. Она не оставит его одного биться в агонии, не сможет забыть эту дурманящую радость, она вернется, чтобы день за днем смаковать его боль.

Господи, что она делает? Выходит ли по вечерам причесанная, накрашенная и безмятежная? Общается ли с людьми, подругой, любовником? Занял ли кто-то то место, которое он освободил, возле этой гадины? Нет. Каждое чужое слово, каждый чужой жест слишком остро напоминали бы ей то, что она могла бы забыть или, по крайней мере, пытаться забыть.

Когда он думал о ней, сидя на краю дороги, у него на глаза наворачивались слезы ярости. В тот вечер, когда она склонила над ним свое лицо, дурацкое лицо, разъедаемое желанием любой ценой причинить ему боль, когда она осмелилась произнести: «А если ты умрешь?», — неужели она и вправду считала, что сможет жить дальше? Он еще слышал ее шаги, ее близкое дыхание, к нему возвращались по очереди слова, которые она произносила, эти жалкие слова, свинцовые от тоски и от обид, знакомых миру, знакомых его матери, знакомых и ему, и ей. Но возможно, Симона не чувствовала в них этой гнетущей тяжести, этой разрушительной силы? Может быть, она пожимает плечами, вспоминая их ссоры?

«Мы не бросим наш дом», — сказал он, когда они уезжали из Араша.

Она больше не вернется, бросит его подышать. Но его жажда жизни будет сильнее ненависти. Не нужно больше надеяться, напрасно ждать.

Это тоже равносильно смерти. Лучше вернуться в шале, забраться в свой кокон, заткнуть уши и отдаться на волю течения.

Он не хотел писать первым. Для чего? Он знал, какой силой обладает молчание, и ему нечего было сказать ей, кроме того, что она уже знала. Мог ли он сказать ей, что любит и ненавидит ее одновременно? Мог ли он сказать ей, что долгими, давящими ночами он разговаривает вслух в тишине, бесконечно перебирая воспоминания, так, что они становятся неузнаваемыми?

Мог ли он сказать ей, что влачит свою жизнь, ежечасно, ежеминутно думая о ней, в надежде, что она последует за ним в могилу? Ей должна быть известна та же тоска, то же мучительное безумство, она должна видеть те же сны и каждый вечер умирать той же смертью.

Он не писал, но постепенно смог убедить себя, что написала она, что письмо не дошло, что она вернется.

Он представлял себе, разговаривая сам с собой, как Симона поднимается по тропинке. Он ждал ее у двери дома, высокий, сильный, невозмутимый, и когда она наконец приходила, у нее было такое же лицо, как тогда, тем вечером, в пустом ресторанчике в Шамони, и он улыбался ей, распахивая объятия.

Он изводил себя, и знал это, невозможной нежностью, но не мог заставить себя не возвращаться бесконечно к этой сцене, представляя ее в малейших подробностях, повторяя каждое произнесенное тогда слово.

В другие минуты он вспоминал, искажая воспоминания. У нее не было перед ним преимуществ и никогда не будет. Она ничего не сможет ему сделать, он не сдастся, она будет валяться у него в ногах. Господи, какая же она жалкая!

Он похудел и с трудом мог стоять, медленно ходил из комнаты в комнату, продолжая вести диалог с тенью. Сингапур, острова, коралловые рифы — как давно он мог думать обо всем этом без горечи, даже верить в это, почему бы и нет? Ребенком, лишенным отца, он вновь попадал в опустевший дом, чувствовал на себе тяжелый взгляд, прикосновение руки.

А что если, несмотря ни на что, один—един—ственный раз то, о чем он мечтал, правда, что, если она вернется?

Она вернулась ясным весенним днем в своем тесном темном пальто, когда цвели все деревья.

Утром он получил телеграмму.

«Я больше не могу, — писала она. — Приеду вечером».

Прочитав, он долго, словно оглушенный, не был способен ни о чем думать. Он должен был сесть. Грудь горела, кровь оглушительно колотилась в ушах. Он говорил себе, что она возвращается, чтобы умереть вместе с ним. Он ждал весь день, сидя перед дверью шале, без единой мысли.

Когда наступила ночь, его охватил ужас: а что если она послала телеграмму только для того, чтобы заставить его ждать и сделать ему еще больше? Нет, это невозможно. Он слишком долго надеялся, слишком долго страдал, а она слишком проста для таких уловок.

Он еще долго сидел на пороге дома, закрыв глаза, потом замерз. Пошел в комнату за курткой. Когда он надевал ее, услышал, как по дороге проехала машина и остановилась возле ворот. Он подбежал к двери, увидел свет фар в ночной мгле, постарался разглядеть Симону. Было слишком темно. Машина развернулась и уехала. Он прислушался. Раздались шаги по гравию, спокойные, приближающиеся шаги.

Она внезапно показалась на аллее с чемоданом в руке, и он сделал несколько шагов, чтобы оказаться в свете фонаря. Еще несколько шагов, и она перед ним: неподвижное лицо,

заострившиеся черты. Она поставила чемодан, и долгое мгновение они молча смотрели друг на друга. У нее был усталый вид, словно ее измотало длинное путешествие в поезде, она казалась постаревшей. Глаза больше не блестели. Он подождал, когда она заговорит, у него пересохло в горле. Но она молчала.

— Ты вернулась? — сказал он.

Словно это было неясно.

— Почему?

Она устало пожала плечами и отвела взгляд.

— Не знаю, — сказала она. — В телеграмме все сказано.

— Да, — сказал он, — да.

Ему хотелось дотронуться до нее, взять ее за руку. Он не осмеливался, он никогда теперь, наверное, не осмелится.

— Можно войти? — сказала она, снова взглянув на него.

Он пропустил ее и вошел следом. Она положила чемодан на стол и повернулась к нему. С легкой улыбкой она качала головой, словно смеялась над собой или над ним, или над ними обоими.

— Ты удивился? — сказала она.

— Нет. Я только и делал, что ждал тебя.

Она опустила голову.

— Тебе не лучше?

— Нет. Тебе, наверное, не следовало возвращаться.

Она посмотрела на него. И снова он увидел у нее ту же улыбку, в которой не было тепла.

— Почему? — сказала она.

— Ты слышала, что сказал этот мерзкий врач.

— Что это меняет?

— Не знаю, — сказал он. — Я ничего не знаю.

Она открыла чемодан, вынула белье. Аккуратно разложила его на столе. Когда в чемодане ничего не осталось, она закрыла его и поставила на пол. Он чувствовал, что она не подойдет теперь к нему, больше не подойдет.

— Мне все равно, — сказала она, — все равно так лучше, чем то, что я пережила за последние недели.

Она снова посмотрела на него. Она стояла перед ним очень прямо, на ее лице застыло выражение грустной иронии.

— Ты не боишься? — спросил он. — Кашляешь, кашляешь, а потом подыхаешь, так это происходит.

— Я знаю.

— Это случится и с тобой.

Она только легко повела плечом, но он знал, что она скажет, еще до того, как она открыла рот.

— Не бойся за меня, — сказала она.

Потом она сняла пальто, повесила его на спинку стула и взяла стопку белья. Он увидел, как она идет в комнату напротив их бывшей спальни. Она открыла дверь, сказала, не глядя:

— Я буду здесь, если не возражаешь.

Он долго слушал, как она ходит в закрытой комнате. На мгновение — очень быстро — он представил себе, что она придет к нему и он обнимет ее, как раньше. Но это было раньше,

и невозможно было начать сначала.

Он прижался лбом к окну и не обернулся, когда она вошла. Он не хотел, чтобы она видела его лицо. Он старался не отрывать взгляда от луча света, который двигался по дороге, задевая деревья, старался слушать шум мотора в ночи. Он старался забыть, что прошлое умерло, а весен больше не будет.

Но как это забыть?